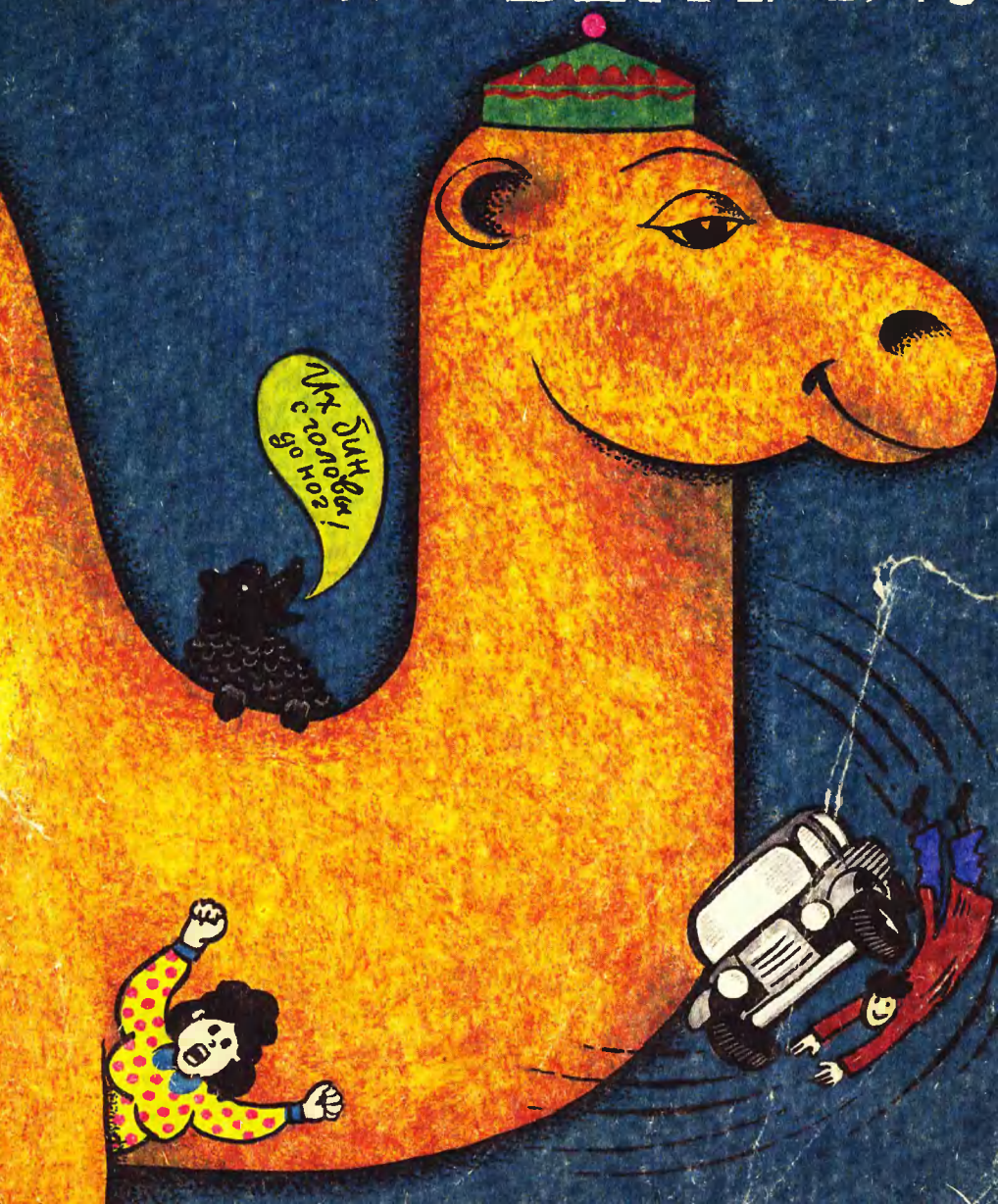


И. Ильф, Е. Петров



ОСТОРОЖНО, ОВЕЯНО ВЕКАМИ!





**ОСТОРОЖНО,
ОВЕЯНО ВЕКАМИ!**



И. Ильер
Е. Петров



**ОСТОРОЖНО,
ОВЕЯНО ВЕКАМИ!**

Печатается по изданию: Ильф И., Петров Е. Осторожно, овеяно веками! Очерки, отрывки, фельетоны. Ташкент: Государственное издательство художественной литературы Узбекской ССР, 1963 г. 168 с.

Ильф И., Петров Е.

И45 Осторожно, овеяно веками! — М.: ИПО «Полигран», 1992. — 96 с.

ISBN 5-85230-070-5

В данный сборник включены произведения замечательных советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Путевые очерки «Осторожно, овеяно веками!» и «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» — библиографическая редкость.

В сборник также включены неизвестные широкому читателю главы романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

Сарказм и юмор этих рассказов не потерял своей остроты и в наши дни.

И 4702010201—072 Без объявл.
091(03)—92

ББК 84-44

ПЛЮШЕВЫЙ ПРОРОК

Как видно, многие стремятся сейчас побывать в Средней Азии. Вероятно, поэтому московский букинист ни за что не отдаст дешевле десяти рублей «Туркестанский край» Семенова-Тянь-Шанского (Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. С-Петербург. Издание А. Ф. Девриена. 1903).

Есть, правда, более современное географическое описание нашего отечества. Но издано оно только на французском, немецком и английском языках. Очевидно, в расчете на то, что подавляющее большинство граждан нашего Союза свободно болтает по-французски, бегло изъясняется на языке Байрона и Гендерсона и легко брешет по-немецки.

Имеется еще несколько поджарых брошюр на русском языке о мечети Биби-Ханым и о городище Афрасиаб, но купить их можно только в Самарканде под голубым куполом усыпальницы Тимура из рук чалмоносного служителя культа.

В итоге — десять рублей переходят к букинисту, а «настольная книга для русских людей» — к советскому путешественнику. Из этой книги он ничего, конечно, не узнает о теперешней жизни среднеазиатских республик. А узнает он, что в Змеином ущелье, неподалеку от Самарканда, высечена на скале арабская надпись:

«Да ведают проходящие пустыню и путешествующие по пристанищам на суше и воде, что в 979 году происходило сражение между отрядом тени всевышнего, великого хакана Абдула-хана, и тридцать тысяч человек боевого народа и отрядом Дервиш-хана и Баба-хана и прочих сыновей... Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Победив упомянутых султанов, он из того войска предал столько смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно».

Советскому туристу, проходящему пустыню или просто путешествующему по пристанищам на суше и воде, становится жутко. Однако он тешит себя мыслью, что времена Дервиш-хана и Баба-хана, и прочих сыновей миновали безвозвратно.

* Печатается с незначительными сокращениями.

В семь часов двадцать пять минут от голой асфальтовой пристани Казанского вокзала отчалил странный поезд. Тащили его два паровоза — такой он был длинный и тяжелый. Собственно говоря, тут были два поезда, соединенные вместе. Один, скорый, шел на Полторацк, другому же, специальному, в Арыси предстояло отделиться и взять на восток — к Турксибу. Поэтому и население соединенных поездов уже на вокзале повело себя по-разному.

Скорые полторацкие пассажиры, крихтя, впахивали в вагоны дорожные корзины с болтающимися, как серьги, черными замочками, крепкие деревянные, под кожу, чемоданы и лакированные фанерные саквояжи.

Специальные турксибовские втаскивали в свои норы фотоаппараты и походные пишущие машинки.

Скорые пассажиры долго и беззвучно целовались с провожающими.

Специальные ни с кем не целовались. Делегацию рабочих-ударников провожали месткомовцы, не успевшие еще проработать вопрос о прощальных поцелуях. Московских корреспондентов провожали редакционные работники, привыкшие в таких случаях отделяться рукопожатиями. Иностранные же корреспонденты, в количестве тридцати человек, выехали на Турксиб в полном составе, с женами и «электролами», так что провожать их было абсолютно некому.

— Пишите письма! — кричали провожающие полторацким пассажирам.

— Только смотрите, не посылайте почтой, — предупреждали турксибовских корреспондентов. — Шлите срочные и молнии.

Участники экспедиции на Турксиб в соответствии с моментом говорили громче обычного, беспричинно хватались за записные книжки и ругали провожающих за то, что те не едут вместе с ними в такое интересное путешествие.

Один из провожающих, молодой еще человек с розовым плюшевым носиком и бархатным румянцем на щеках, произнес пророчество, страшно всех напугавшее:

— Я знаю такие поездки. Здесь вас человек сто. Ехать вы будете целый месяц. И мне известно ваше будущее. Двое из вас отстанут от поезда на маленькой глухой станции без денег и документов и догонят вас только через неделю, голодные и оборванные. Один, конечно, умрет, и друзья покойного, вместо того чтобы ехать на Турксиб, вынуждены будут везти дорогой прах в Москву. Это очень скучно и противно — возить прах. Неизбежно возникает ряд утомительных, изнуряющих склок.

Все мне известно. Едете вы сейчас в шляпах и кепках, а назад вернетесь в тюбетейках. Самый глупый из вас купит полный доспех бухарского торговца: бархатную шапку, отороченную шакалом, и толстое ватное одеяло, сшитое в виде халата.

И конечно же, все вы будете по вечерам петь в вагоне «Стеньку Разина». Будете глупо реветь: «И за борт ее бросает в надлежущую волну». Мало того. Даже иностранцы будут петь: «Вольга, Вольга, мать родная».

— Ну и свинья же вы, — с досадой ответили отъезжающие. — Не будем мы петь.

— Через два дня запоете. Это неизбежно.

— Не будем.

— Запоете. И если вы честные люди, то немедленно напишете мне об этом открытку. Думаю получить ее на днях. Прощайте.

Последняя часть пророчества сбылась на другой же день, когда поезд, гремя и ухая, переходил Волгу по Сызранскому мосту. Стараясь не смотреть друг другу в глаза, спецпассажиры противными городскими голосами затянули песню о волжском богатыре.

В соседнем вагоне иностранцы, коим не было точно известно, где и что полагается петь, с воодушевлением исполнили «Эй, полным-полна коробочка» со странным припевом «Эх, юхнем».

Открытки молодому человеку с плюшевым носом никто не послал. Как-то не вышло.

Один лишь корреспондент белорусской газеты крепился. Он не пел вместе со всеми. Когда песенный разгул овладел поездом, один лишь он молчал, плотно сжимая губы и делая вид, что читает «полное географическое описание нашего отечества». Он был строго наказан. Музыкальный припадок случился с ним ночью, далеко за Самарой. В полночный час, когда соединенные поезда уже спали, из купе белорусского корреспондента послышался шатающийся голос:

«Все отдам, не пожалею, буйну голову отдам».

Путешествие взяло свое.

НЕТЕРПЕЛИВЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

В ожидании событий спецпоезд томился. До Турксиба было еще далеко, ничего достопримечательного еще не случилось, и все же московские корреспонденты (вынужденное безделье их иссушало) ревниво присматривали друг за другом.

«Не узнал ли кто-нибудь чего-нибудь и не послал ли об этом молнию в свою редакцию».

Наконец белорусский корреспондент не сдержался и отправил телеграфное сообщение:

«Проехали Оренбург тчк Идем двойной тягой тчк Настроение бодрое зпт делегатских вагонах разговоры только Турксибе».

Секрет вскоре раскрылся, и на следующей же станции у телеграфного окошечка образовалась очередь: все послали сообщение о двойной тяге и о прочем.

Для иностранцев же широкое поле деятельности открылось тотчас за Оренбургом, когда они увидели первого верблюда, первую юрту и первого казаха. По меньшей мере двадцать фотоаппаратов нацелились на высокомерную павлинью морду верблюда. Началась экзотика. Восток, мифы, корабли пустыни, «киргиз-кайсацкие орды», загадочные души монголов, вольнолюбивые сыны степей, Пьер Бенуа наяву и вообще «Тысяча и одна ночь».

Но уже на следующем разъезде, где поезд остановился случайно, романтический бред дал первую трещину.

В степи лежали красные цилиндрические бочки, железная тара для горючего, желтел новый деревянный барак, и перед ним, тяжело втиснувшись в землю гусеничными цепями, тянулась тракторная шеренга.

На решетчатом штабеле шпал стояла девушка-трактористка в черном рабочем комбинезоне и валенках.

Тут советские корреспонденты взяли реванш. Держа фотоаппараты на уровне глаз, они стали подбираться к девушке. Но если верблюд фотографировался с полным сознанием своего права на известность, то трактористка оказалась куда более скромной.

Снимков пять она перенесла спокойно, а потом покраснела и ушла. Фотографы перекинулись на тракторы. Кстати, на горизонте виднелась цепочка верблюдов, отлично укладывавшаяся в рамку кадра под названием «Старое и новое» или «Кто кого».

Наших фотографов часто упрекают в том, что кадр «Старое и новое» сам уже не нов и что фото, изображающее верблюда, который нюхает турксибовский рельс, не что иное, как пошлость.

Фотографы зло огрызаются. И они правы. Эта тема не может быть плохой. Простые истины нужно повторять неустанно. Да, трактор лучше верблюда, автомобиль лучше арбы, дружная совместная работа лучше работы в одиночку, и покуда есть люди, не желающие этого понять, простые истины придется повторять ежедневно: Там, где есть необходимость, там нет пошлости.

От Оренбурга до Арыси поезд идет двое суток. Двое суток по Казахстану. От Арыси до Алма-Аты — тоже двое суток. Это все еще Казахстан. Если ехать от Алма-Аты на Семипалатинск, надо затратить еще двое суток. И это тоже еще Казахстан. Что же это за республика такая, по которой нужно ехать целых шесть железнодорожных суток?

ПОДАРОК ЦВЕТА МОЛОДОЙ ТРАВЫ

В Арыси спецвагоны окончательно оформились в спецпоезд. Скорый полторацкий, облегченно бренча чайниками, побежал на Ташкент. А спецпоезд, получивший название «литер А», в связи

с чем ему были дарованы особые преимущества (проход вне всякой очереди впереди скорых поездов) незлобиво простоял в Арыси лишних пять часов.

Мимо снеговых цепей, с грохотом перекатываясь через искусственные сооружения (мостики, трубы для пропуска весенних вод и др.), а также бросая трепетную тень на горные ручьи, «литер А» проскочил Чимкент и долго вертелся под самым боком большой снеговой горы.

Не будучи в силах одолеть перевал сразу, «литер А» подскакивал к горе то справа, то слева, поворачивал назад, пыхтел, возвращался снова, терся о гору пыльно-зелеными своими боками, всячески хитрил и выскочил, наконец, на волю. Исправно поработав колесами всю ночь, поезд молодецки осадил на станции Аулиэ-Ата.

В кубках удивительного солнечного света, на фоне алюминиевых гор стоял паровоз цвета молодой травы. Это был подарок аулиэ-атинских железнодорожников Турксибу.

В течение довольно долгого времени по линии подарков к торжествам и годовщинам у нас не все обстояло благополучно. Обычно дарили или очень маленькую, величиной с кошку, модель паровоза, или, напротив того, зубило, превосходящее размерами телеграфный столб.

Такое мучительное превращение маленьких предметов в большие и наоборот отнимало много времени и денег и практиковалось довольно долго. Никчемные паровозики пылились на канцелярских шкафах, а титаническое зубило, перевезенное на двух фургонах, бессмысленно и дико ржавело во дворе юбилейного учреждения.

Но аулиэ-атинский паровоз О-в, ударно выпущенный из среднего ремонта, был совершенно нормальной величины, и по всему было видно, что зубило, которое, несомненно, употребляли при его ремонте, тоже было обыкновенного размера.

Красивый подарок немедленно впрягли в поезд, и «Овечка», как принято называть в полосе отчуждения паровозы серии О-в, неся на своем передке плакат «Даешь Сибирь», бодро покати к истоку Турксиба, к станции Луговой.

2 ноября 1927 года на первый десяток турксибских шпал лег первый черно-синий рельс, выпущенный Надеждинским заводом. В течение трех лет с тех пор из прокатных станков завода беспрерывно вылетали огненные макароны рельсов. Турксиб требовал их все больше и больше.

Укладочные городки, которые шли друг другу навстречу из Луговой и Семипалатинска, с севера и юга, в довершение всего устроили соревнование и взяли такой темп, что всем поставщикам материалов пришлось туго.

Вечер в Луговой, освещенный розовыми и зелеными ракетами, улетающими в черное лакированное небо, был настолько хорош, что старожилы, если бы они здесь имелись, хвастливо утверждали бы, что такого вечера они не запомнят. К счастью, в Луговой старожил не было. Еще в 1927 году здесь не было не только что старожил, но и домов, и станционных помещений, и рельсового пути, и деревянной триумфальной арки с хлопающими на ней лозунгами и флагами, неподалеку от которой остановился правительственный поезд.

ГОРА ИДЕТ К МАГОМЕТУ

Пока под керосинокалильными фонарями шел митинг и все население Луговой столпилось у трибуны, фоторепортер с двумя аппаратами, штативом с машинкой для магния кружил вокруг арки.

Арка казалась фотографу подходящей. Она получилась бы на снимке отлично. Но поезд, стоявший шагах в двадцати, получился бы слишком маленьким. Если же снимать со стороны поезда, то маленькой получилась бы арка.

В таких случаях Магомет, не долго думая, шел к горе, отлично понимая, что уж гора-то, безусловно, к нему не пойдет. Но фоторепортер предпочитает, чтобы гора шла к нему. Он сделал то, что показалось ему самым простым. Попросил подвинуть поезд под арку таким же легким тоном, как просят в трамвае немножко подвинуться.

Кроме того, он настаивал на том, чтобы труба паровоза стояла как раз под аркой и чтобы из нее, трубы, валил по возможности густой белый пар. Еще требовал, чтобы машинист бесстрашно смотрел из окошечка вдаль, держа ладонь козырьком над глазами.

Железнодорожники растерялись и, думая что так именно и надо, просьбу удовлетворили. Поезд с лязгом подтянулся к арке, из трубы повалил требуемый пар, и машинист, высунувшись из окошечка, сделал зверское лицо.

Тогда фоторепортер произвел такую вспышку магния, что задрожала земля и на сто километров вокруг залаяли собаки. Сделав снимок, фотограф сухо поблагодарил железнодорожный персонал и поспешно удалился в свое купе.

Поздно ночью «литер А» шел уже по Турксибу. Колеса легко пробегали по новым рельсам. Когда население поезда укладывалось спать, в коридор вагона, шатаясь, вышел фотограф и, ни к кому не обращаясь, скорбно сказал:

— Станный случай. Оказывается, что эту проклятую арку я снимал на пустую кассету. Так что ничего не вышло.

— Не беда, — с участием ответили ему спецпассажиры. — Пустое дело. Попросите машиниста, и он живо даст задний ход. Всего лишь через три часа вы снова будете в Луговой и повторите свой снимок. А смычку можно будет отложить на день.

— Черта с два теперь снимешь, — печально молвил фотограф. — У меня уже вышел весь магний. А то, конечно, пришлось бы вернуться.

ЛЮБОВЬ К ИЗЯЩНОМУ

На митинге у нового Илийского моста на земле была обнаружена записная книжка. Стали искать хозяина, но не нашли. Напрасно в толпе ходил доброволец и выкрикивал:

— Чей блокнотес?

Хозяин блокнота давно, видно, рыскал уже по строительному поселку, где разбросанно стояли камнедробилки и лезла в небо решетчатая мачта крана. Давно он бегал среди глыб красного гранита, шарахался из-под копыт казахских лошадок и брал беседу у строителей моста.

Вот что было записано в блокноте московского журналиста:

«В 10.10 по моск. вр. вышли со станции Луговой на широк. Турксибск. просторы».

«Начало собственно Турксиба».

«Отметить героизм строителей. Тяжел. услов. работы. ТПО хромает. Первый казах-стрелочник. Две срочные телеграммы 26 р. 30 к. Молния о встрече в Луговой — 16 р. 70 к.»

«Чокпарский перевал проходим ночью. Ни черта не видно. Жалко. Придется посмотреть на обратном пути. Прочесть о вариантах. — Курдайском, Чокварском».

«Вчера на остановке в вагон-ресторан зашли рабочие и покупали сигары. Две штуки 75 копеек. Безобразие чисто кооперативное. Папирос, махорки не могут доставить. Бред. Рабочие курят сигары. Никакой бюджет не выдержит».

«Фонари паровоза — как два огненных глаза. Очень похожи. Употребить для очерка».

«Беседа с пом. нач. Турксиба по эксплуатации т. Пугачевым. Общественность должна еще больше усилить внимание к Турксибу, чтобы с осени 1930 г. могла начаться правильная эксплуатация. Осталось много работы — балластировка, постройка школ, больниц, зданий, подъездн. путей. Результ. — времен. эксплуат. Турксиба. За 4 мес. (октябрь 1929 — январь 1930) было погружено 18.315 вагонов и принято со станции Арысь 12.046 ваг.»

«Директивы партии, правительства исполн. Уже в период времен. экспл. создано небольшое, но крепкое ядро кадров из коренного населения, из которого в дальнейшем вырастет казахский железнодорожный пролетариат».

«Рабочие делегаты делятся впечатлениями о Луговой».

«Копия молнии в Москву: «Перевалили Чокпар тчк Фонари паровоза огненными глазами прорезывают ночную темь тчк Казахи радостно гонятся поездом тчк Молнируйте получение телеграмм».

На следующей страничке вместо записи красовался жирный нефтяной оттиск большого пальца. Как видно, корреспондент, движимый чувством любознательности, какой-то перегон проехал на паровозе.

Это был, несомненно, человек пылкий и в то же время полный любви к изящному. Об этом ярко свидетельствуют «два огненных глаза», которые он не смог утаить от человечества и поспешно обнародовал по телеграфу.

С остальными записями не удалось ознакомиться. Хозяин блокнота нашелся, вырвал его из рук неверных и тут же, присев на корточки, принялся записывать в книжку новые факты, идеи, мысли и художественный орнамент.

С платформы, на которую спешно взгромоздили стол и обычный заседательский графин с водой, говорили речи. Но любая речь, как бы она ни была справедлива, казалась здесь бледноватой. Дело, о котором говорили ораторы, лежало тут же, под ногами: далеко в пустыню уходили рельсы, и чуть ниже станции большой трехпролетный мост висел над широкой тихой рекой Или. Все это было сделано быстро и прочно и нисколько не нуждалось в рекомендации.

На стол, рядом с графином, поставили девочку-пионерку.

— Ну, девочка, — сказал начальник строительства, человек веселый и темпераментный (о нем речь будет ниже), — скажи нам, что ты думаешь о Турксибе.

Не удивительно было бы, если б девочка внезапно топнула ногой и начала:

— Товарищи, позвольте мне подвести итоги тем достижениям, кои...

И так далее и т.п.

Потому что встречаются у нас такие примерные дети, первые ученики, которые с печальной старательностью произносят двухчасовые речи.

Однако илийская пионерка слабыми своими ручонками сразухватила быка за рога и тонким смешным голосом закричала:

— Да здравствует Турксиб!

Правильно. Короткая, содержательная речь. Да здравствует Турксиб!

Мост, на котором еще вчера была надвинута третья, последняя ферма, решено было открыть на обратном пути. А пока поезд устремился через временную эстакаду и, грохоча, с головою ушел в скалистую выемку. Наперерез ему спускались с холмов казахи в шапках, похожих на китайские пагоды.

ЧУДЕСА СТАНУТ БЫТОМ

По мере приближения к месту смычки северного и южного участков, к Айна-Булаку, казахов становилось все больше.

Айна-Булак, что значит Хрустальный ручей, за несколько дней до смычки был переименован в Огуз-Окурген, что значит Ревущий бык. Холодный хрустальный ручей пробежал тут же под насыпью, а ревущего быка успешно заменили громкоговорители, расставленные в полупустыне.

Два укладочных городка, два поезда, представляющих собой строительные предприятия на колесах с материальными складами, столовыми, канцеляриями и жильем для рабочих, стояли друг против друга, отделенные только двадцатью метрами шпал, еще не прошитых рельсами. В этом же месте ляжет последний рельс и будет забит последний костыль.

А два с половиной года назад укладочные городки были разделены 1440 километрами пустыни, прорезанной реками и прегражденной скалистыми холмами. Соревнуясь в работе, городки сближались, преодолевая пески и продираясь сквозь снежные бури.

Прибывшие поезда с гостями из Москвы, Сибири и Средней Азии образовали улицы и переулки. Со всех сторон составы подступали к трибуне, сипели паровозы, и белый пар задерживался на длинном полотняном лозунге: «Турксиб — первое детище пятилетки».

Еще все спали, и прохладный ветер стучал флагами на пустой трибуне, когда чистый горизонт сильно пересеченной местности внезапно омрачился разрывами пыли. Со всех сторон выдвигались из-за холмов остроконечные шапки.

Тысячи всадников, понукая волосатых лошадок, торопились к деревянной стреле, находившейся на той самой точке, которая была принята еще три года назад как место будущей смычки.

Кочевники ехали целыми аулами.

Средствами передвижения они были обеспечены отлично. Отец семейства ехал верхом, верхом по-мужски ехала жена, ребята втроем рысили на отдельной лошадке, и даже злая теща — и та посылала вперед своего верного коня, ударяя его каблуками под живот.

Конные группы вертелись в пыли, носились по полю со знаменами, вытягивались на стременах и, повернувшись боком, любопытно озирали чудеса.

Чудес было много. Поезда, радио, рельсы, вздорные фигуры кинорепортеров в каких-то новозеландских берегах, решетчатая столовая, неожиданно выросшая на голом месте.

Пятнадцать тысяч всадников непрестанно рысили взад и вперед, десятки раз переходили вброд Хрустальный ручей и только к началу митинга расположились в конном строю позади трибуны. А некоторые, застенчивые и гордые, так и промаячили весь день на вершинах холмов, не решаясь подъехать ближе к гудящему и ревущему митингу.

Турксибовцы праздновали свою победу шумно, весело, с криками, музыкой и подбрасыванием на воздух любимцев.

Развернув длинный свиток, начальник строительства голосом, уже охрипшим за дни празднества, прочел рапорт о том, что великий рельсовый путь соединил Среднюю Азию с Сибирью.

Обычно он сдабривает свои речи большой долей доброкачественного юмора. Это всегда имеет успех. Он знает, что человек, который засмеялся, воспримет серьезные места речи еще лучше, чем смешные. Сейчас пришлось обойтись без юмора.

Рапорт говорил об очень серьезных предметах — о темпах постройки, стоимости дороги, будущем грузообороте, рапорт пестрил цифрами, и тем не менее его слушали с улыбкой и радостным вниманием. Рапорт говорил о победе, и ни одна из речей начальника не имела такого оглушительного успеха.

Со звоном на полотно полетели рельсы, в минуту они были уложены, и рабочие-укладчики, забившие миллионы костылей, горделиво уступили право на последние удары своим руководителям.

Инженер-краснознаменец сдвинул большую фетровую шляпу на затылок, схватил молот с длинной ручкой и, сделав плачущее лицо, ударил прямо по земле.

Дружелюбный смех костыльщиков, среди которых были богатыри, забивавшие костыль одним ударом, сопутствовал этой операции.

Однако мягкие удары о землю вскоре стали перемежаться звоном, свидетельствующим, что молот иногда приходит в соприкосновение с костылем.

Размахивали молотом секретарь крайкома, зампредсовнаркома РСФСР, начальники укладочных городков и герои-краснознаменцы. Самый последний костыль в каких-нибудь полчаса заколотил в шпалу начальник строительства.

Совершив этот трудовой процесс, он смиренно нырнул в толпу, подозрительно оглядываясь по сторонам. Но это его не спасло.

Засучивая рукава, к нему уже подбегали костыльщики и грабировали. Его сразу схватили за ноги.

— Това... — закричал начальник строительства.

Но его хриплый голос потонул в доброжелательных рукоплесканиях. Покачать начальника должным образом, то есть подбросить его к самому небу, не удалось. И без того грузноватый, начальник Турксиба значительно увеличил свой вес только что полученным вторым орденом Красного Знамени. Толпа, надсаживаясь, протаскала его несколько метров по площадке и вскоре выпустила на свободу. И он побежал на трибуну, утопая в сиянье голубого дня.

А потом начались речи. Они произносились по два раза, на русском и казахском языках. Корреспонденты уже не могли пожаловаться на отсутствие событий. Трещали и ломались карандаши.

Записывались речи, инженеров хватили за пульсы и требовали от них бесед с точными цифровыми данными. Стало жарко, пыльно и деловито. Митинг дымился, как огромный костер...

Фотоаппараты иностранцев щелкали беспрерывно. Глотки высохли от речей и солнца. Собравшиеся все чаще поглядывали вниз, в долину, на столовую, где полосатые тени навеса лежали на длиннейших столах, уставленных мисочками и зелеными нарзанными бутылками.

Обед для турксибовцев и гостей был дан в евразийском роде. Казахи расположились на коврах, поджав ноги, как это делают на Востоке все, а на Западе только портные; турксибовцы и гости засели за столы.

Кочевники впервые в жизни познакомились с трескучим нарзаном.

— Вот что, товарищи, — говорил корреспондент одной комсомольской газеты в голубых полотняных сапогах, — вот что, товарищи и братья по перу, давайте условимся, что пошлых вещей мы писать не будем.

— Пошлость отвратительна, — поддержал его спецкор железнодорожной газеты, молодой человек с пробивающейся лысиной. — Она ужасна.

— Давайте, — предложил журналист из центрального органа, — изыдем из наших будущих очерков надоевшие всем пошлости в восточном вкусе.

И было решено за корреспондентским столом:

Не писать об «Узун-Кулаке», что значит «Длинное ухо», что в свою очередь значит «Степной телеграф». Об этом писали все, и об этом больше невозможно читать.

Не писать очерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно восточных легенд. Больше дела.

Но уже на другой день, когда «литер А», порвав грудью красную ленту, прогремел по илийскому мосту и подходил к столице Казахстана Алма-Ате, у корреспондента (пожелавшего остаться неизвестным) вырвали из цепких лап две бумажки.

На одной из них была телеграмма.

«Срочная, Москва. Степной телеграф тире Узун-Кулак квч Длинное ухо зпт разнес аулам Казахстана весть состоявшейся смычке Турксиба».

Вторая бумага была исписана сверху донизу. Вот что в ней сохранилось:

«ЛЕГЕНДА ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ»

Старый каракалпак Ухум Бухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков.

— Двести тысяч четыреста восемьдесят пять лун тому назад молодая быстроногая, как джейран (горный баран), жена хана красавица Сумбурун горячо полюбила молодого нукера Айбулака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик двенадцать лун возносил молитвы, а потом со слезами на глазах запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота, весом в семь джасасын, бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя — Иссык-Куль, что значит «Сердце красавицы».

— Как? — вопили все. — Как вы смели написать легенду после всего того, что было сказано? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «Сердце красавицы»? Ой ли? Не наврал ли вам старый каракалпак? Не звучит ли это название таким образом: «Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озера легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики!»

Корреспондент со вздохом порвал бумажку и поклялся не творить больше легенд. И это было ему очень трудно, потому что впереди были самые легендообильные места Средней Азии — Ташкент, Самарканд.

НА СКЛОНАХ АЛА-ТАУ

В Алма-Ате с лихвой сбылась вторая часть пророчества молодого человека с розовым плюшевым носом.

От поезда отстали два рабочих делегата и два писателя. О писателях не беспокоились. Все знали, что оба они философы и отнесут-

ся к этому печальному происшествию с соответствующим моменту стоицизмом.

Что же касается рабочих, то их участь представлялась грустной. Они, как совершенно правильно каркал плюшевый пророк, остались без денег и документов. Все понимали, что если без денег перебраться кое-как можно, то уже без документов в нашем отечестве просто зарез.

Через час моторная дрезина с отставшими догнала поезд на разъезде.

Каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, что довольно стойчески вели себя делегаты. Что ж касается философов, то они в тоске метались по перрону и осторожно бились головой о станционный колокол.

Бросившись в свои вагоны, писатели уже не покидали их дня два. Изредка только, на остановках, они выходили на перрон, чтобы подышать свежим воздухом. При этом они цепко держались за ручки вагона.

Между тем Алма-Ата была таким местом, в котором отстать от поезда вовсе не так уж неприятно. Это светлый, широкий город, большинство населения которого первый раз в жизни увидело поезд только в прошлом году, когда Турксиб подошел к Алма-Ате. Здесь совсем не трудно найти человека, читавшего Шедрина и Фадеева, подписчика Большой советской энциклопедии и журнала «Жизнь искусства», но еще не привыкшего к железнодорожному пейзажу — водокачкам, семафорам и стрелочным будкам.

Алма-Ата еще сохранила свой старорежимный вид полковничьего городка. Вся она обставлена одноэтажными, многоквартирными домиками с деревянными ставнями наружу, резными карнизами и тенистыми помещичьими крылечками.

Все это воздвигнуто в чрезвычайно русском стиле, с петушочками, гребешочками, пташечками и полотенчиками. Сразу видно, что люди ходили здесь в белых кителях, что в зелени скверов сверкали золотые эполеты, что трубили здесь медные оркестры и до самых снеговых вершин Заилийского Ала-Тау долетал вальс «На сопках Маньчжурии». Видно, что люди собирались здесь жить долго, уютно и спокойно.

Но не остаться Алма-Ате полковничьим городком даже с виду. Турксиб преобразит столицу Казахстана. Уже свозятся по городской ветке строительные материалы. Городу тесно. Столько предстоит дела, что неизвестно даже, за что раньше взяться. Строить ли раньше усовершенствованные мостовые, или прокладывать прежде всего канализацию и водопровод, либо взяться за устройство большого курорта в Медео, альпийской местности, в 14-ти километрах от города, где пейзажу не хватает только

сенбернара с привязанной к ошейнику плиткой шоколада «Гала-Петер», чтобы стать точно похожим на всемирно известные швейцарские ландшафты.

И уже не «Сопки Маньчжурии» долетают к вершинам Ала-Тау, а гудящий звон «юнкерса», улетающего в пассажирский рейс.

Как удивились бы полковники, увидев в Алма-Ате, в бывшем Верном, вместо захудалой гимназии казахский университет!

В САНДАЛИЯХ «ДЯДЯ ВАНЯ»

Поезд постепенно обрастал бытом. Иностранцы, выехавшие из Москвы в белых мраморных воротничках, тяжелых шелковых галстуках и добротных пиджаках, постепенно стали распоясываться в буквальном смысле этого слова. Одолевала жара.

Первой ласточкой оказался один из американцев. Стыдливо посмеиваясь, он вышел однажды из своего вагона в странном наряде — на нем были:

а) желтые толстые башмаки, б) шерстяные чулки по колено, в) штаны гольф, г) роговые очки и д) русская косоворотка хлебозаготовительного образца, вышитая крестиком.

С тех пор пошло и пошло. Чем жарче становилось (а жарче становилось все время), тем меньше иностранцев оставалось верными идее европейского костюма. Косоворотки апашки, сорочки «фантази», толстовки, полутолстовки, сандалии «дядя Ваня» и тапочки полностью преобразили работников прессы капиталистического Запада. Они приобрели разительное сходство со старинными советскими служащими, и мучительно хотелось их-чистить и выпытывать, что они делали до 1917 года.

Но это превращение иностранцев было еще не последним. Если до сих пор иностранные корреспонденты из последних сил держались за мягкие шляпы, то в Ташкенте и шляпам пришел бесславный конец. На всех головах засверкали золотые тубетейки.

Давление экзотики было так сильно, что иностранные дамы, может быть, надели бы даже черную паранджу из конского волоса.

Но предмет этот вышел из моды, и на огромном ташкентском базаре его придется долго искать.

Паранджа, черная походная тюрьма, в которую еще несколько лет назад были заключены почти поголовно все узбеки, стала редким явлением.

Но как ни странно, в огромном полуевропейском Ташкенте, где бегают низкие белые трамваи и черноголовые узбекские дети

мужественно проходят по старому городу, демонстрируя против празднования курбан-байрама, женщин в паранджах значительно больше, чем в Самарканде, где узбечку, запакованную в паранджу, встретишь очень редко, или в Бухаре, еще недавнем религиозном центре, где паранджи не увидишь совсем.

Великолепен Самаркандский оазис. Далеко вокруг озаряют его зеленые факелы тополей, отражаясь в залитых водой квадратных рисовых полях.

И там, где есть десяток тополей, там уж, наверно, стоит карагач, точно воспроизводящий форму гигантского глобуса на деревянной ножке. Зелень карагача упруга и плотна, как головка цветной капусты.

Арбы движутся на колесах того размера, какого обычно бывают маховики больших двигателей. Они вдвое выше впряженной в арбу лошади.

Ослики везут на себе всю семью своего хозяина и из-под этого живого пестрого груза видны только добрые пепельные уши маленького работяги. Ослики здесь работают в десять лошадиных сил.

РЕКЕ ДАЛИ ПО РУКАМ

Одну из блистательных побед в борьбе человека с землей представляет собой Раватская ирригационная система, законченная совсем недавно.

На всех главнейших путях, которые выходят из Самарканда, готовятся или уже ведутся шоссевые работы. Одна лишь дорога на Раватстрой (она лежит в 40 километрах от Самарканда) находится в таком же состоянии, в каком была, должно быть, еще во времена ветхозаветного конфликта между Каином и Авелем.

Дорога эта не имеет обхода и приходилось выбирать. Либо отремонтировать путь и закрыть этим сообщение с Раватстроем, к которому нельзя было бы подвезти строительные материалы, либо строить плотину, оставив на время дорогу в ее диком состоянии.

Раватстрой оказался, конечно, важнее. Что же касается дороги, то все ее сорок километров хорошо было бы передать в музей Автодора, в отдел под названием «Черт знает что такое».

Могучие красные автобусы повезли рабочую делегацию мимо площади Регистан с ее тремя чудесами архитектуры, тремя мечетями — Шир-Дор, Тилля-Кари и Улугбек.

Темно-синие, желтые и голубые изразцы мечети блестили под солнцем жидким стеклянным светом. Далеко врозь расходились удивительные наклонные минареты Улугбека.

Обливаясь бензином потом и издавая хриплые стоны, машины осаждали в пустыне, у плаката «Пятилетка в действии».

Внизу, за пригорком, река Зеравшан была заперта четырьмя шлюзами: Реке дали по рукам. Больше не будет бежать она, куда захочется, и орошать, что попало. Нет больше речной вольницы. Госплан убрал воду в железобетонный социалистический амбар, учел ее до последнего кубического сантиметра и пускает по бетонированным каналам туда, куда она должна идти по пятилетке.

Раватская ирригационная система внешне похожа на гидроэлектростанцию. Это Днепрострой Узбекистана, для которого вода значит еще больше, чем электроэнергия для Украины.

Как и на гидроэлектростанции, люди (их работало в период постройки несколько тысяч человек), сделав свое дело, ушли. Теперь работает одна вода, и все это грандиозное сооружение обслуживается тремя десятками рабочих.

Вода, кипя и выделявая сальто-мортале, вырывается из открытого шлюза и, постепенно смиряясь, бежит через тоннель в один из четырех орошаемых округов. Больше воды — больше хлопка. Турксиб возьмет хлопок и привезет взамен его хлеб.

БУХАРСКИЙ ДОСПЕХ

В Самарканде цвели акации. Электрические лампы сияли в зеленых куцах. Продолжали сбываться пророчества.

На другой же день после осмотра Раватстроа началась тибетская лихорадка. Некоторые, окончательно войдя во вкус, приобретали по три тибетейки.

— Ну зачем вам так много? — спрашивали любителя.

— Как же, — отвечал он, — одна тибетейка самаркандская. Видите, на ней узор особенный. Другая — ферганская, а эта вот в виде купола — бухарская. Ташкентские я куплю на обратном пути в Ташкенте. Там же я куплю десяток дешевых тибетеек по двугривенному штука. Ими я буду затыкать рты жадным знакомым.

Вскоре обнаружился и самый глупый из путешественников.

Поздно ночью он принес в свой вагон полный доспех бухарского торговца — бархатную шапку, отороченную шакальным хвостом, и скроенный из ватного одеяла рябой халат.

— Сам вижу, — говорил он блудливо, — что попал впросак. Но ничего не мог с собой поделать. Пришел, увидел, купил. И что теперь, братцы, со мной будет?

На обратном пути, в Ташкенте, сверх комплекта отстали два американских корреспондента. Ввиду того, что этот случай не вошел в пророчество, они так поезда и не догнали.

В одном только пророк оказался не прав.

Утомительных склок в дороге не было. Кроме того, никто не умер. Напротив того, все оживилось настолько, что даже устроили в поезде литературный вечер. По всей вероятности, это был первый вечер, где величина прочитанных рассказов измерялась количеством километров пути, а слушатели не могли убежать, ибо бежать было некуда.

Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска

ГОРОД И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Не находя нужным облекать таинственностью историю Колоколамска, доводим до сведения наших читателей, что:

- а) Колоколамск действительно существует;
- б) ничего общего с Волоколамском не имеет и
- в) находится он как раз между РСФСР и УССР, так что не нанесен на географические карты ни одной из этих дружественных и союзных республик. В этом целиком приходится винить наших географов.

Что же касается газетных работников, очеркистов и описателей уездной жизни, то, даже стремясь в Колоколамск, они по странной иронии судьбы попадали в Ялту или Кисловодск, каковые города описывали с усердием, достойным лучшего применения.

Но автору удалось попасть в Колоколамск, пожить там в отеле «Ряжск» и даже снять генеральный план с этого удивительного города.

Как видно из плана, славный город Колоколамск привольно и живописно раскинулся на левом берегу мелководной реки Збруи. В XIV веке конюх колоколамского князя Андрея Себялюбского, напившись византийской водки, уронил в речку сбрую княжеского мерина. Упряжь утонула, и с тех пор река получила название Збруи.

Со времени этого события прошли века. Себялюбская площадь давно переименована в Членскую, и легенду о потоплении сбруи знает только гражданин Псов-старший, который и рассказал ее нам за бутылкой в пивной «Друг желудка».

В реку Збрую впадает ничтожная речушка Вожжа. О ней ничего не удалось узнать, ибо Псов-старший соглашался продлить свои воспоминания только после угощения во всех пивных, расположенных на Большой Месткомовской улице.

Последовательно угостившись за счет гостей в пивных «Санитас», «Заре навстречу», «Малорусь», «Огненное погребение», «Голос минувшего» и в пивной завода имени «Емельяна Пугачева», Псов-

старший не оправдал возложенных на него надежд, потому что потерял дар речи.

Упомянутая Большая Месткомовская улица является главной артерией города. Она соединяет железнодорожную станцию с Членской площадью. Затем Большая Месткомовская спускается к реке. Через паром, управляемый капитаном Н. Похотиллю, можно переправиться на противоположный берег и попасть в дремучий лес, окружающий город и помешавший в свое время татарам предать Колоколамск огню и мечу, потоку и разграблению, гладу и мору.

Углубившись в лес, легко наткнуться на кустаря-одиночку портного Соловейчика. Здесь, в бору, он спасается от налогов, но, несмотря на это, берет за шитье так дорого, что получил у колоколамцев название Соловейчика-разбойника.

Вправо, на горе, высится артель бывших монахинь под названием «Деепричастие». Продукцию свою монахини сбывают в кооператив, что в Переучетном переулке, неподалеку от Семибатюшной заставы.

Восточная часть города справедливо гордится двумя Бывшими, на стыке которых был построен ковчег, — Бездокладной и Землетрясенческой улицами. Последнюю назвали не так давно в честь очередного землетрясения в Японии.

Из переулков самым большим здесь является Похотливый переулок с прекрасными индивидуальными банями.

Обойдя молчанием ничем не выдающийся Мелколавочный, Малосольный и Малохольный переулки, отметим темное пятно города — Приключенческий тупик. Он получил свое название из-за происходящих в нем ежевечерних ограблений запоздалых путников, которые заползают туда в пьяном виде.

Из достопримечательностей восточной части города отметим русско-украинское общество «Геть неграмотность» и горящий дом у Семибатюшной заставы. Дом этот горит ежедневно уже в течение пяти лет. Его каждое утро поджигает домовладелец брандмайор Огонь-Полыхаев, чтобы дать работу вверенной ему пожарной команде.

Южная, она же Привокзальная часть Колоколамска, отличается красотой расположенного на ней Старорежимного бульвара. Кроме того, это самая фешенебельная часть города. Здесь находится Спасо-Кооперативная площадь с лжепромысловой артелью «Личтруд» под председательством мосье Подлинника, военизированные курсы декламации и пения Синдика-Бугаевского, старинный храм Выявления Христа, оживленная Гигроскопическая улица с великолепным, но, к сожалению, все еще незаконченным зданием здравницы «Все за лечобу».

Особенно поражает на Спасо-Кооперативной площади могила неизвестного частника.

В начале нэпа в Колоколамск приехал никому не известный частник за конским волосом. Весь день он ездил по городу, закупая свой товар, к вечеру внезапно упал с извозчика на Спасо-Кооперативной и скоропостижно скончался. Документов при нем не оказалось.

Не желая отставать от Парижа, Брюсселя и Варшавы, устроивших у себя могилы неизвестных солдат, но не имея возможности раздобыть солдата (никто из колоколамцев никогда не воевал), граждане зарыли неизвестного частника на площади и зажгли на его могиле неугасаемый огонь. Каждую неделю, по субботам, Соловейчик-разбойник в парадной траурной кепке переправляется в центральную часть города на пароме и принимает у могилы неизвестного частника заказы на шитье.

Западная часть города состоит из трех улиц и одного переуллка. Широкий, прямой, как стрела, Кресто-Выдвиженческий проспект украшен новой, Кресто-Выдвиженческой церковью. Рядом с церковью помещается русско-украинское общество «Геть рукопожатие».

Единодушная улица и продолжение ее — Единогласная — соединяются с Южной частью города Досадным переулком. Между Единодушной и Единогласной высится каланча и милицейская часть.

Самая молодая часть города — Зазбруйная часть — стоит на стрелке, образуемой Вожжей и Збруей, и основное занятие проживающих здесь граждан лучше всего характеризуется названиями улиц.

Сюда приезжают колоколамцы за водкой по большим праздникам, когда закрыт кооператив.

Таков Колоколамск, в существовании которого, можно надеяться, никто теперь не усомнится.

СИНИЙ ДЬЯВОЛ

В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы ездивший туда по торговым делам доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком.

Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше.

— Я попал под автомобиль, — сказал доктор Гром радостно, — потом судился.

И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья.

В Москве, у Тверской заставы, фортуна, скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил испачкавшиеся брюки и закричал:

— Убили!

Из остановившегося синего «паккарда» выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля.

— Убили! — твердо повторил доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам.

— А я его знаю, — сказал чей-то молодецкий голос. — Это посол страны Клятвии. Клятвийский посол.

Суд произошел на другой же день, и по приговору его клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненное ему увечье по сто двадцать рублей в месяц.

По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске три дня и три ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич.

Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль клятвийского посольства и привез приговор суда.

На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненное ему увечье по сто сорок рублей в месяц, как обремененному большой семьей.

На радостях кондитер выкатил народу бочку пива. Весь Колоколамск страхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения.

Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пения Синдик-Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямоотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам клятвийского посольства и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик-Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и сторублевую пенсию по гроб жизни.

Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый, счастливейший период своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием.

На отхожий промысел в Москву потянулись все — умудренные опытом старики, молодые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клятвийскую машину, отлеживались в госпитальных, а потом аккуратно вносили с посольства установленную сумму.

Между тем в Клятвии разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалованье государственным чиновникам и уменьшить армию с трехсот человек до пятнадцати. Зашевелилась оппозиционная правительству партия христианских социалистов. Председатель совета министров, господин Эдгар Павийнен, беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Сууп.

Когда под клятвийскую машину попал тридцатый по счету гражданин города Колоколамска, Никола Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали пучка со стороны военной клики.

В палату был внесен запрос:

— Известно ли господину председателю совета министров, что страна находится накануне краха?

На это господин председатель совета министров ответил:

— Нет, не известно.

Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятвии пришлось сделать внешний заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь два месяца.

Шофер клятвийской машины, на которого уповало все государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно наострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского дьякона три квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину.

Колоколамцы затаскали Клятвию по судам. Страна погибала.

С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лжеартеля «Личтруд» мосье Подлинник. Он долго колебался и хныкал. Но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала:

— Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд.

Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхожем колоколамцы кричали:

— Головой! Не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!

Подлинник вернулся через два дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом.левой рукой он не владел.

— Сколько? — спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощавшего клятвийского казначейства.

Но председатель лжеартеля вместо ответа беззвучно заплакал. Ему было стыдно рассказать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофер вовремя затормозил и потом долго бил его, Подлинника, по голове и рукам американским гаечным ключом.

Вид мосье Подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили.

И только этот случай спас Клятвию от окончательного разорения.

ВАСИСУАЛИЙ ЛОХАНКИН

Давно уже Колоколамск не видел гробовщика Васисуалия Лоханкина в таком сильном возбуждении. Когда он проходил по Малой Бывшей улице, он даже пошатывался, хотя два последних дня вовсе не пил.

Он заходил во все дома по очереди и сообщал согражданам последнюю новость:

— Конец света. Потоп. Разверзлись хляби небесные. В губернском городе семь дней и семь ночей дождь хлещет. Уже два ответственных работника утонуло. Светопреставление начинается. Довели большевики до ручки. Поглядите-ка.

И Лоханкин дрожащей рукой показывал на небо. К городу со всех сторон подступали фиолетовые тучи. Горизонт грохотал и выбрасывал короткие злые молнии.

Впечатлительный гражданин Пферд из дома № 17 значительно развил сообщение Лоханкина. По полученным им, Пфердом, сведениям, Москва была уже затоплена, и реки повсюду вышли из берегов, в чем он, Пферд, видел кару небесную. Когда же к кучке граждан, тревожно озиравших небеса, подбежала Сицилия Петровна в капоте из оранжевого фланелета и заявила, что потоп ожидается уже давно и об этом на прошлой неделе говорил ей знакомый коммунист из центра, в городе началась паника.

Колоколамцы были жизнелюбивы и не хотели гибнуть во цвете лет. Посыпались проекты, клонящиеся к спасению города от потопа.

— Может, переедем в другой город? — сказал Никола Псов, наименее умный из граждан.

— Лучше стрелять в небо из пушек, — предложил мосье Подлинник, — и разогнать таким образом тучи.

Но оба эти предложения были отвергнуты. Первое отклонили после блестящей речи Лоханкина, доказавшего, что вся страна уже затоплена и переезжать совершенно некуда. Вторым, довольно дельным предложением нельзя было воспользоваться за отсутствием артиллерии.

И тогда взоры всех колоколамцев с надеждой и вождением обратились на капитана Ноя Архиповича Похотилло, который стоял немного поодаль от толпы и самодовольно крутил свои триумфаль-

ные усы. Капитан славился большим жизненным опытом и сейчас же нашелся.

— Ковчег! — сказал он. — Нужно строить ковчег!

— Ной Архипович! — застонала толпа в предчувствии великих событий.

— Считаться не приходится, — отрезал капитан Похотилло. — Благодарить будете после избавления.

На головы граждан упали первые сиреневые капли дождя. Это подстегнуло рвение колоколамцев, и к строительству ковчеха приступили безотлагательно. В дело пошел весь лесоматериал, какой только нашелся в городе.

Рабочим чертежом служил рисунок Доре из восемнадцатифунтовой семкиной библии, которую принес дякон живой церкви отец Огнепоклонников. К вечеру дождь усилился, пришлось работать под зонтиками. Крышу ковчеха сделали из гробов Лоханкина, потому что не хватило лесоматериалов. Крыша блистала серебряным и золотым глазетом.

— Считаться не приходится, — говорил капитан Похотилло.

На нем был штормовой плащ и зюйдвестка. Редкий дождик шел всю ночь. На рассвете в ковчег стали приезжать пассажиры. И тут только граждане поняли, что означает странное выражение капитана «Считаться не приходится». Считаться приходилось все время. Ной Архипович брал за все: за вход, за багаж, за право взять в плавание пару чистых или нечистых животных и за место на корме, где по уверениям капитана должно было меньше качать.

С первых пассажиров, в числе которых были: мосье Подлинник, Пферд и Сицилия Петровна, сменившая утренний капот на брезентовый тальер, расторопный капитан взял по 80 рублей. Но потом Ной Архипович решил советских знаков не брать и брал царскими. Никола Псов разулся перед ковчехом и вынул из сапога «катеньку», за что был допущен внутрь с женой и вечнозеленым фикусом.

У ковчеха образовалась огромная пробка. Хлебнувший водки капитан заявил, что после потопа денежное обращение рухнет, что денег ему никаких поэтому не надо, а даром спасать колоколамцев он не намерен. Ноя Архиповича с трудом убедили брать за проезд вещами. Он стоял у входа на судно и презрительно рассматривал на свет чьи-то диагональные брюки, подбрасывал на руке дутые золотые браслеты и не гнушался швейными машинками, отдавая предпочтение ножным.

Посадка сопровождалась шумом и криками. Подгоняемые дождем, который несколько усилился, граждане энергично напирали. Оказалось, что емкость ковчеха ограничена двадцатью двумя персонами, включая сюда кормчего Похотилло и его первого помощника Лоханкина.

— Ковчег не резиновый! — кричал Ной Архипович, защищая вход своей широкой грудью.

Граждане с надрывом голосили:

— Пройдите в ковчег! Вперед! Свободнее!

— Граждане, пропустите клетку с воронами! — вопил Васисуалий Лоханкин.

Когда вороны были внесены, капитан Похотилло увидел вдали начальника курсов декламации и пения Синдик-Бугаевского, за которым в полном составе двигались ученики курсов.

— Ковчег отправляется! — испуганно закричал капитан. — Граждане! Сойдите со ступенек. Считаться не приходится!

Двери захлопнулись. Дождь грозно стучал о глазетовую крышу. Снаружи доносились глухие вопли обреченных на гибель колоколамцев. Великое плавание началось.

Три дня и три ночи просидели отборные колоколамцы в ковчеге, скудно питались, помалкивали и с тревогой ждали грядущего.

На четвертый день выпустили через люк в крыше ворону. Она улетела и не вернулась.

— Еще рано, — сказал Лоханкин.

— Воды еще не сошли! — разъяснил капитан.

На пятый день выпустили вторую ворону. Она вернулась через пять минут. К левой ее ножке была привязана записочка:

«Вылезайте, дураки». И подпись: «Синдик-Бугаевский».

Отборные колоколамцы кинулись к выходу. В глаза им ударило солнце. Ковчег, весь в пыли, стоял на месте его постройки — посреди Малой Бывшей, рядом с пивной «Друг желудка».

— Позвольте, где же потоп? — закричал разобиженный Пферд. — Это все Лоханкин выдумал.

— Я выдумал? — возмущенно сказал Васисуалий Лоханкин. — А кто говорил, что реки вышли из берегов, что Москва уже утонула? Тоже Лоханкин?

— Считаться не приходится! — загремел Похотилло.

И ударил гробовщика вороной по румяному лицу.

Счеты с автором потопа граждане сводили до поздней ночи.

СТРАШНЫЙ СОН

Бывший мещанин, а ныне бесцветный гражданин города Колоколамска Иосиф Иванович Завитков неожиданно для самого себя и многочисленных своих знакомых вписал одну из интереснейших страниц в истории города.

Казалось бы, между тем, что от Завиткова Иосифа Ивановича нельзя было ожидать никакой прыти. Но таковы все колоколамцы. Даже самый тихий из них может в любую минуту совершить какой-нибудь отчаянный или героический поступок и этим лишний раз прославить Колоколамск.

Все было гладко в жизни Иосифа Ивановича. Он варил ваксу «Африка», тусклость которой удивляла всех, а имевшееся в изобилии свободное время проводил в пивной «Голос минувшего».

Оказал ли на Завиткова свое губительное действие запах ваксы, помрачил ли его сознание пенистый портер, но так или иначе Иосиф Иванович в ночь с воскресенья на понедельник увидел сон, после которого почувствовал себя в полном расстройстве.

Приснилось ему, что на стыке Единодушной и Единогласной улиц повстречались с ним трое партийных в кожаных куртках, кожаных шляпах и кожаных штанах.

— Тут я, конечно, хотел бежать, — рассказывал Завитков соседям, — а они стали посреди мостовой и поклонились мне в пояс.

— Партийные? — восклицали соседи.

— Партийные! Стояли и кланялись. Стояли и кланялись.

— Смотри, Завитков, — сказали соседи, — за такие факты по головке не глядят.

— Так ведь мне же снилось! — возразил Иосиф Иванович, усмехаясь.

— Это ничего, что снилось. Были такие случаи... Смотри, Завитков, как бы чего не вышло!

И соседи осторожно отошли подальше от производителя ваксы.

Целый день Завитков шлялся по городу и, вместо того чтобы варить свою «Африку», советовался с горожанами касательно виденного во сне. Всюду он слышал предостерегающие голоса и к вечеру лег в свою постель со стесненной грудью и омраченной душой.

То, что он увидел во сне, было настолько ужасно, что Иосиф Иванович до полудня не решался выйти на улицу.

Когда он переступил, наконец, порог своего дома, на улице его поджидала кучка любопытствующих соседей.

— Ну, Завитков? — спросили они нетерпеливо.

Завитков махнул рукой и хотел было юркнуть назад, в домик, но уйти было не так-то легко. Его уже крепко обнимал за талию председатель общества «Геть рукопожатие» гражданин Долой-Вышневецкий.

— Видел? — спросил председатель грозно.

— Видел, — устало сказал Завитков.

— Их?

— Их самых.

И Завитков, вздыхая, сообщил соседям второй сон. Он был еще опаснее первого. Десять партийных, все в кожаном, с брезентовыми портфелями, кланялись ему, беспартийному Иосифу Ивановичу Завиткову, прямо в землю на Спасо-Кооперативной площади.

— Хорош ты, Завитков, — сказал Долой-Вышневецкий, — много себе позволяешь!

— Что же это, граждане, — гомонили соседи, — этак он весь Колоколамск под кодекс подведет.

— Где же это видано, чтобы десять партийных одному беспартийному кланялись?

— Гордый ты стал, Завитков. Над всеми хочешь возвыситься.

— Сон это, граждане! — вопил изнуренный Завитков. — Разве мне это надо? Во сне ведь это!

За Иосифа Ивановича вступился председатель лжеартели мосье Подлинник.

— Граждане! — сказал он. — Слов нет, Завитков совершил неэтичный поступок. Но должны ли мы сразу же его заклеить? И я скажу — нет. Может быть, он на ночь съел что-нибудь нехорошее. Простим его для последнего раза. Надо ему очистить желудок. И пусть заснет спокойно.

Председатель лжеартели своей рассудительностью завоевал в городе большое доверие. Собравшиеся согласились с мосье Подлинником и решили дожидаться следующего утра.

Устрашенный Завитков произвел тщательную прочистку желудка и заснул с чувством приятной слабости в ногах.

Весь город ожидал его пробуждения. Толпы колоколамцев запрудили Бездокладную улицу, стараясь пробраться поближе к Семибатюшной заставе, где находился скромный домик производителя ваксы.

Всю ночь спящий Завитков подсознательно блаженствовал. Ему поочередно снилось, что он доит корову, красит ваксой табуретку и гоняет голубей. Но на рассвете начался кошмар. С поразительной ясностью Завитков увидел, что по губернскому шоссе подъехал к

нему в автомобиле председатель Губисполкома, вышел из машины, стал на одно колено и поцеловал его, Завиткова, в руку.

Со стоном выбежал Завитков на улицу.

Розовое солнце превосходно осветило бледное лицо мастера ваксы.

— Видел! — закричал он, бухаясь на колени. — Председатель исполкома мне ручку поцеловал. Вяжите меня, православные!

К несчастному приблизились Долой-Вышневецкий и мосье Подлинник.

— Сам понимаешь, — заметил Долой-Вышневецкий, набрасывая веревки на Иосифа Ивановича, — дружба дружбой, а хвост набок.

Толпа одобрительно роптала.

— Пожалуйста, — с готовностью сказал Завитков, понимавший всю тяжесть своей вины, — делайте, что хотите.

— Его надо продать! — заметил мосье Подлинник с обычной рассудительностью.

— Кто же купит такого дефективного? — спросил Долой-Вышневецкий.

И словно в ответ на это зазвенели колокольчики бесчисленных троек, и розовое облако снежной пыли взметнулось на Губшоссэ.

Это двигался из Витебска на Камчатку караван кинорежиссеров на съемку картины «Избушка на Байкале». В передовой тройке скакал взмыленный главный режиссер.

— Какой город? — хрипло закричал главреж, высовываясь из кибитки.

— Колоколамск! — закричал из толпы Никола Псов. — Колоколамск, ваше сиятельство!

— Мне нужен типаж идиота. Идиоты есть?

— Есть один продажный, — вкрадчиво сказал мосье Подлинник, приближаясь к кибитке. — Вот! Завитков!

Взор режиссера скользнул по толпе и выразил полное удовлетворение. Выбор нужного типажа был великолепен. Что же касается Завиткова, то главрежа он прямо-таки очаровал.

— Давай! — рявкнул главный.

Связанного Завиткова положили в кибитку. И караван вихрем вылетел из города.

— Не поминайте лихом! — донесли из поднявшейся метели слова Завиткова.

А метель все усиливалась и к вечеру нанесла глубочайшие сугробы. Ночью небо очистилось. Как ядро, выкатилась луна. Оконные стекла заросли морозными пальмами. Город мирно спал. И все видели обыкновенные мирные сны.

ЗОЛОТОЙ ФАРШ

Целую неделю новая курица гражданина Евтушевского не неслась. А в среду в 8 часов и 40 минут вечера снесла золотое яйцо.

Это совершенно противоестественное событие произошло следующим образом.

С утра Евтушевский, как обычно, был занят: продавал дудки, копался в огорожке, заряжал и разряжал партию мышеловок, изготовленную по заказу председателя промысловой лжеартели «Личтруд» мосье Подлинника.

После обеда старый дудочник залез в соседний двор за навозом для кирпича, но был замечен. В него бросили палкой и попали. До самых сумерек Евтушевский стоял у плетня и однообразно ругал соседей.

День был вконец испорчен. Жизнь казалась отвратительной. Дудок в этот день никто не купил. Пополнить запасы топлива не удалось. Курица не неслась.

В таких грустных размышлениях застали Евтушевского мосье и мадам Подлинники. Они приходили за своими мышеловками только в безлунные вечера, потому что официально считалось, что чета Подлинников prepares мышеловки сама, не эксплуатируя чужой труд.

— Имейте в виду, мосье Евтушевский, — сказал председатель лжеартели, — что ваши мышеловки имеют большой дефект.

— Дефект и минус! — укоризненно подтвердила мадам Подлинник.

— Ну да! — продолжал мнимый председатель. — Ваши мышеловки слишком сильно действуют. Клиенты обижаются. У Бибиных вашу мышеловку нечаянно зацепили. Она долго прыгала по комнате, выбила стекло и упала в колодезь.

— Упала и утонула, — добавила председательша.

Евтушевский погрузился еще больше.

Вдруг в углу, где толкалась курица, раздалось бормотанье, и затрещали крылья.

— Ей-богу, сейчас снесется! — закричал дудочник, вскочив.

Но слова его были заглушены таким громким стуком, как будто бы на пол упала гиря. На середину комнаты, гремя, выкатилось темное яйцо и, описав параболическую кривую, остановилось у ног хозяина дома.

— Что т-такое?

Евтушевский взял со стола керосиновую лампу с голубым фаянсовым резервуаром и нагнулся, чтобы осветить странный предмет. Вместе с Евтушевским наклонилась к полу и лжеартельная чета.

Жидкий свет лампы образовал на полу бледный круг, посередине которого матово блистало крупное золотое яйцо.

Оторопь взяла присутствующих. Первым очнулся мосье Подлинник.

— Это большое достижение! — сказал он деревянным голосом.

— Достижение и плюс, — добавила жена, не сводя лунатических глаз с драгоценного предмета.

Подлинник потянулся к яйцу рукой.

— Не балуй! — молвил дудочник и схватил вороватую руку.

Голос у него был очень тихий и даже робкий, но вцепился он в Подлинника мертвой хваткой. Мадам он сразу же ударил ногой, чтоб не мешала. Курица бегала вокруг, страстно кудахтала и увеличивала суматоху.

Минуту все помолчали, а затем разговор возобновился.

— Пустите, — сказал лжепредседатель. — Я только хотел посмотреть, — может, яйцо фальшивое.

Не отпуская Подлинника, Евтушевский поставил лампу на стол и поднял яйцо с пола. Оно было тяжелым и весило не меньше трех фунтов.

— Яичко что надо, — завистливо сказал мосье. — Но, может быть, оно все-таки фальшивое.

— Чего еще выдумали, — дудочник высокомерно усмехнулся, — станет вам курица нести фальшивые золотые яйца. Фантазия ваша! Слушайте... Да тут же проба есть. Ей-богу... как на обручальном кольце.

На удивительном яйце действительно было выбито клеймо пробирной палатки, указывающее 56-ю пробу.

— Ну теперь вас арестуют, — сказал Подлинник.

— И задавят налогами! — добавила мадам.

— А курицу отберут.

— И яйца отберут.

Евтушевский растерялся. Известковые тени легли на его лицо.

— Какие яйца? Ведь есть же только одно яйцо.

— Пока одно. Потом будет еще. Я уже слышал об этом. Это же известная история о том, как курица несла золотые яйца. Евтушевский, мосье Евтушевский! Имейте в виду, мосье Евтушевский, что один дурак такую курицу уже зарезал. Был такой прецедент.

— И что там было внутри? — с любопытством спросил старый дудочник.

— Ничего не было. Что там может быть? Потроха...

Евтушевский тяжело вздохнул, повертел яйцо в руке и стал шлифовать его о брюки. Яйцо заблестело пуще прежнего. Лучи лампы отражались на его поверхности лампадным, церковным блеском. Евтушевский не проронил ни слова.

Председатель лжеартели озабоченно бегал вокруг старого дудочника. Он очень волновался, давил ногами клетку и чуть даже не наступил на притихшую курочку.

Евтушевский молчал, туго глядя на драгоценное яйцо.

— Мосье Евтушевский! — закричал Подлинник. — Почему вы молчите? Я же вам разъяснил, что в курице никакого золота не может быть. Слышите, мосье Евтушевский?

Но владелец чудесной курицы продолжал хранить молчание.

— Он ее зарежет! — закричал Подлинник.

— Зарежет и ничего не найдет! — добавила мадам.

— Откуда же берется золото? — раздался надтреснутый, полный низменной страсти, голос Евтушевского.

— Вот дурак! — заорал разозленный лжепредседатель. — Оттуда и берется.

— Нет, вы скажите, откуда оттуда?

Мосье Подлинник с ужасом почувствовал, что ответить на этот вопрос не может. Минуты две он озадаченно сопел, а потом сказал:

— Хорошо. Мне вы не верите. Не надо. Но председателю общества «Геть неграмотность» вы можете поверить? Ученому человеку вы доверяете?

Евтушевский не ответил.

Супруги Подлинники ушли, оставив старого дудочника наедине со своими тяжелыми мыслями. Всю ночь маленькое окошечко домика было освещено. Из дома несло кудахтанье курицы, которой Евтушевский не давал спать. Он поминутно брал ее на руки и окидывал безумным взглядом.

К утру весь Колоколамск уже знал о чудесном яйце. Супруги Подлинники провели остаток вечера в визитах. Всюду под строжайшим секретом они сообщали, что курица Евтушевского снесла три фунта золота и что никакого жульничества здесь быть не может, так как на золоте есть клеймо пробирной палатки.

Общее мнение было таково, что Колоколамску предстоит блестящая будущность. Началось паломничество к домику Евтушевского. Но проникнуть в дом никому не удалось — дудочник не отвечал на стук в двери.

Наконец к дверям домика протиснулись Подлинники, ведя с собой председателя смешанного русско-украинского общества «Геть неграмотность» товарища Балюстрадника. Это был человек очень худой и такой высокий, что в городе его называли человеком-верстой.

После долгих препирательств Евтушевский открыл дверь, и делегация, провожаемая завистливыми взорами толпы, вошла в достопримечательное отныне жилище Евтушевского.

— Гм, — заметил Балюстрадников и сразу же взялся за яйцо.

Он поднес его к глазам, почти к самому потолку, с видом человека, которому приходится по нескольку раз в день видеть свежеснесенные, еще теплые золотые яйца.

— Не правда ли, мосье Балюстрадников, — начал Подлинник, — это глупо, то, что хочет сделать мосье Евтушевский? Он хочет зарезать курицу, которая несет золотые яйца.

— Хочу, — прошептал Евтушевский.

За ночь он понял все. Он уже не сомневался в том, что курица начинена золотом и нет никакого смысла тратить на ее прокорм и ждать, когда она соблаговолит разрешиться новым яйцом.

Председатель общества «Геть неграмотность» погрузился в размышления.

— Надо резать! — вымолвил он наконец.

Евтушевский, словно бы освобожденный от заклятия, стал гоняться за курицей, которая в бегстве скользила, припадала на одну ножку, летала под столами и билась об оконное стекло.

Подлинник был в ужасе.

— Зачем резать? — кричал он, наседая на «Геть неграмотность».

«Геть» иронически улыбнулся. Он сел и покачал ногой, заложенной за ногу.

— А как же иначе? Ведь курица питается не золотом. Значит, все золото, которое она может снести, находится в ней. Значит, нужно резать.

— Но позвольте!.. — вскричал Подлинник.

— Не позволю! — ответил Балюстрадников.

— Спросите кого угодно. И все вам скажут, что нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца.

— Пожалуйста. Под окном весь Колоколамск. Я не возражаю против здоровой критики моих предложений. Спросите.

Председатель лжеартели ударил по оконной раме, как Рауль де-Нанжи в четвертом действии оперы «Гугеноты», и предстал перед толпой.

— Граждане! — завопил он. — Что делать с курицей?

И среди кристальной тишины раздался бодрый голосок стоящего впереди всех старичка с седой бородой ниже колен.

— А что с ей делать, с курицей-то?

— Заре-зать! — закричали все.

— В таком случае я в долю! — воскликнул мосье Подлинник и ринулся за курицей, которая никак не давалась в руки дудочника.

В происшедшем замешательстве курица выскочила в окно и, пролетев над толпой, поскакала по Бездокладной улице. Преследо-

ватели, стукаясь головами о раму, выбросились на улицу и начали погоню.

Через минуту соотношение сил определилось так.

По пустой, нудной улице, подымая пыль, катилась курица «Барышня». В десяти метрах от нее на длинных ногах поспешал человек-верста. За ним, голова в голову, мчались Евтушевский с Подлинником, а еще позади нестройной кучей с криками бежали колоколамцы. Кавалькаду замыкала мадам Подлинник со столовым ножом в руке.

На площади «Барышню», вмешавшуюся в общество простых колоколамских кур, схватили, умертвили и выпотрошили.

Золота в ней не было ни на грош.

Кто-то высказал предположение, что зарезали не ту курицу. И действительно внешним своим видом «Барышня» ничем не отличалась от прочих колоколамских кур.

Тогда началось поголовное избиение домашней птицы. Сгоряча резали и потрошили даже гусей и уток. Особенно свирепствовал председатель общества «Геть неграмотность». В общей свалке и неразберихе он зарезал индюка, принадлежавшего председателю общества «Геть рукопожатие».

Золотого фарша нигде не нашли.

Смеющегося Евтушевского увезли на телеге в психбольницу.

Когда милиция явилась в дом Евтушевского, чтобы описать оставшееся после него имущество, с подгнившего бревенчатого потолка тяжело, как гиря, упал и покатился по полу какой-то круглый предмет, обернутый в бумажку.

В бумажке оказалось золотое яйцо, точь в точь, как первое. Была и 56-я проба. Но кроме этого, на яйце были каллиграфически выгравированы слова:

«С новым годом».

На бумажке была надпись:

«Передать С. Т. Евтушевскому. Дорогой сын! Эти два яйца — все что осталось у меня после долгой беспорочной службы в пробирной палатке. Когда-нибудь эти яички тебя порадуют. Твой папа Тигрий Евтушевский».

СОБАЧИЙ ПОЕЗД

Обычно к двенадцати часам дня колоколамцы и прелестные колоколамки выходили на улицы, чтобы подышать чистым морозным воздухом. Делать горожанам было нечего, и чистым воздухом они наслаждались ежедневно и подолгу.

В пятницу, выпавшую в начале марта, когда на Большой Месткомовской степенно циркулировали наиболее именитые семьи, с Членской площади послышался звон бубенцов, после чего на улицу выкатил удивительный экипаж.

В длинных самоедских саниях, влекомых цугом двенадцатью собаками, вольно сидел закутанный в оленью доху молодой человек с маленьким тощим лицом.

При виде столь странной для умеренного колоколамского климата запряжки граждане проявили естественное любопытство и шпалерами расположились вдоль мостовой.

Неизвестный путешественник быстро покати по улице, часто похлестывая бичом взмыленную левую пристяжную в третьем ряду и зычным голосом вскрикивая:

— Шарик, черт косой! Н-о-о, Шарик!

Доставалось и другим собачкам.

— Я т-ебе, Бобик!.. Н-о-о, Жучка!.. Побери-и-гись!!

Колоколамцы, не зная, кого послал бог, на всякий случай крикнули «ура».

Незнакомец снял меховую шапку с длинными сибирскими ушами, приветственно помахал ею в воздухе и около пивной «Голос Минувшего» придержал своих неукротимых скакунов.

Через пять минут, привязав собачий поезд к дереву, путешественник вошел в пивную. На стене питейного заведения висел плакат: «Просьба о скатерти руки не вытирать», хотя на столе никаких скатертей не было.

— Чем прикажете потчевать? — спросил хозяин дрожащим от волнения голосом.

— Молчать! — закричал незнакомец. И тут же потребовал полдюжины пива.

Колоколамцам, набившимся в пивную, стало ясно, что они имеют дело с личностью незаурядной. Тогда из толпы выдвинулся

представитель исполнительной власти и с беззаветной преданностью в голосе прокричал прямо по Гоголю:

— Не будет ли каких-нибудь приказаний начальнику милиции Отмежуеву?

— Будут! — ответил молодой человек. — Я профессор центральной изящной академии пространственных наук Эммануил Старохамский.

— Слушаюсь! — крикнул Отмежуев.

— Метеориты есть?

— Чего-с?

— Метеориты или так называемые болиды у вас есть?

Отмежуев очень испугался. Сперва сказал, что есть. Потом сказал, что нету. Затем он окончательно запутался и пробормотал, что есть один гнойник, но, к сожалению, еще недостаточно выявленный.

— Гнойниками не интересуюсь! — воскликнул молодой восемнадцатилетний профессор, которому пышные лавры Кулика не давали покою. — По имеющимся в центральной академии сведениям, у вас во время царствования Александра Первого благословенного упал метеорит величиною с Крымский полуостров.

Представитель исполнительной власти совершенно потерялся, но положение спас мосье Подлинник, мудрейший из колоколамцев. Он приветствовал юного профессора на восточный манер, прикладывая поочередно ладонь ко лбу и сердцу. Он думал, что так нужно приветствовать представителей науки. Покончив с этим церемонным обрядом, он заявил, что из современников Александра Первого благословенного в городе остался один лишь беспартийный старик по фамилии Керосинов и что старик этот единственный человек, который может дать профессору нужные ему разъяснения.

Керосинов, хотя и зарос какими-то корнями, оказался бодрым и веселым человеком.

— Ну что, старик, — дружелюбно спросил профессор, — в крематорий пора?

— Пора, батюшка, — радостно ответил полуторавековый старик, — в наш, советский крематорий. В наш-то колумбарий!

Потом подумал и добавил:

— И планетарий.

— Метеорит помнишь?

— Как же, батюшка, помню. Все приезжали, Александр Первый приезжал. И Голенищев-Кутузов приезжал с Эггертом и Малиновской. И этот, который крутит, киноимпетор приезжал. И Анри Барбюс в казенной пролетке приезжал. Расспрашивал про старую жизнь, я, конечно, таить не стал. Истязали, говорю. В 1801 году, говорю.

Тут старик понес такую чушь, что его увели. Больше никаких сведений о метеорите профессор Старохамский получить не смог.

— Ну-с, — задумчиво молвил профессор, — придется делать бурение.

За пиво он не заплатил, раскинул на Большой Месткомовской палатку и зажил там, ожидая, как он говорил, средств из центра на бурение.

Через неделю он оброс бородкой, задолжал за шесть grossов пива и лишился собак, которые убежали от него и рыскали по окраинам города, наводя ужас на путников.

Колоколамцам юный профессор полюбился, и они очень его жалели.

— Пропадает наш Старохамский без средствиев, — говорили они дома за чаем, — а какое же бурение без средствиев!

По вечерам избранное общество собиралось в «Голосе Минувшего» и разглядывало погибающего путешественника.

Профессор сидел за зеленым барьером из пивных бутылок и пронзительным голосом читал вслух московские газеты. По его маленькому лицу струились пьяные слезы.

— Вот, пожалуйста, что в газетах пишут, — бормотал он, — «Все на поиски профессора Старохамского», «Экспедиция на помощь профессору Старохамскому». Меня ищут. Ох! Найдут ли!..

И профессор рыдал с новой силой.

— Наука! — с уважением говорили колоколамцы, — Это тебе не ларек открыть. Шутка ли! Метеорит. Раз в тысячу лет бывает. А где его искать? Может, он в Туле лежит! А тут человек задаром гибнет!

Наконец через месяц экспедиция нашла на верный след.

С утра Колоколамск переполнился северными оленями, аэросаниями и корреспондентами в пимах. Под звон колоколов и радостные клики толпы профессор был извлечен из «Голоса Минувшего», с трудом поставлен на ноги и осмотрен экспедиционными врачами. Они нашли его прекрасно сохранившим силы.

А в это время корреспонденты в пимах бродили по улицам и, хватая колоколамцев за полы, жалобно спрашивали:

— Гнойники есть?

— Нарывы есть?

На другой день северные олени и аэросани умчали спасителей и спасенного.

Экспедиция торопилась. Ей в течение ближайшей недели нужно было спасти еще человек двадцать исследователей, затерявшихся в снежных просторах нашей необъятной страны.

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Грачи прилетели в город Колоколамск.

Был светлый ледяной весенний день, и птицы кружили над городом, резкими голосами воздавая хвалу городским властям. Колоколамские птички, подобно гражданам, всей душой любили власть имущих.

Днем на склонах Старорежимного бульвара уже бормотали ручейки, и прошлогодняя трава подымала голову.

Но не весенний ветер, не крики грачей, не попытки реки Збруи преждевременно тронуться вызвали в городе лихорадочное настроение. Залихорадило, затрясло город от сообщения Николы Псова.

— Источник! Источник! — вопил Никола, проносясь по улицам, сбивая с ног городских сумасшедших, стуча в окна и забегая в квартиры сограждан. — Своими глазами!

На расспросы граждан Никола Псов не отвечал, судорожно взмахивал руками и устремлялся дальше. За ним бежала растущая все больше и больше толпа.

Кто знает, сколько бы еще мчались любопытные граждане за обезумевшим Псовым, если бы дорогу им не преградил доктор Гром, выскочивший в белом халате из своего домика.

— Тпр-р-р! — сказал доктор Гром.

И все остановились. А Никола начал бессвязно божиться и колотить себя в грудь обеими руками.

— Ну, — строго спросил доктор, — скажи мне, ветка Палестины, в чем дело?

Гром любил уснащать речь стихотворными цитатами.

— В Приключенческом тупике источник забил, — с убеждением воскликнул Никола. — Своими глазами!

И гражданин Псов, прерываемый возгласами удивления, доложил обществу, что он, забредя по пьяному делу в Приключенческий тупик, проснулся на земле от прикосновения чего-то горячего. Каково же было его, Псова, удивление, когда он обнаружил, что лежит в мутноватой горячей воде, бьющей прямо из земли.

— Тут я, конечно, вскочил, — закончил Никола, — и чувствую, что весь мой ревматизм как рукой сняло. Своими глазами!

И Псов начал произносить самые страшные клятвы в подтверждение происшедшего с ним чуда.

— Прибежали в избу дети, — заявил доктор Гром, — если это не нарзан, то, худо-бедно, боржом.

Доктор Гром мигом слетал за инструментами, и через час в Приключенческий тупик не смогла бы проникнуть даже мышь, так много людей столпилось у источника.

Доктор, раскинув полы белого халата, сидел на земле у самого источника, небольшой параболой вылетавшего из земли и образовавшего уже порядочную лужу. Он на скорую руку производил исследование.

— Слыхали ль вы, — сказал он, наконец подымаясь, — слыхали ль вы за рощей глас ночной? — Слыхали ль вы, что это — источник, худо-бедно, в десять раз лучше нарзана?

Толпа ахнула. И доктор стал выкрикивать результаты анализа.

— Натри хлорати — 2,7899! Натри бикарбоници — 10,0026. Ферри бикарбонати — 3,1267, кали хлораци — 8,95.

— Сколько хлораци? — взволнованно переспросил мосье Подлинник, давно уже совавший палец в кипящие воды источника.

— Восемь целых, девяносто пять сотых! — победоносно ответил Гром. — Буря мглою небо кроет.

— Что небо! — ахнул Подлинник. — Это все кроет. Это богатство!

— Кисловодску конец! — сказал доктор. — При таких углекисло-щелочных данных наш источник вконец излечивает: подагру, хирагру, ожирение, сахарную болезнь, мигрень, половое бессилие, трахому, чирья, катар желудка, чесотку, ангину и сибирскую язву.

В толпе началось сильное движение. Едва доктор начал перечислять болезни, как Никола Псов сбросил свой тулупчик, прямо в штанах бросился в желтоватую воду и начал плескаться в ней с таким усердием, как будто решил избавиться сразу и от хирагры, и от полового бессилия, и от ангины, и от сибирской язвы. Источник вспенился, и все ясно почувствовали его острый целебный запах.

Многие граждане сбрасывали верхнее платье, чтобы, окунувшись в источник, вернуть себе юношеское здоровье. Их подбадривал Псов, который, дрожа, вылез из воды и начал уже покрываться ледяной пленкой.

Но тут неорганизованному пользованию благами источника был положен конец. К толпе вернулся сбежавший за начальником милиции мосье Подлинник и при помощи расторопного Отмежуе-

ва мигом вытеснил толпу из тупика, установил рогатку и турникет и повесил дощечку с надписью:

Колоколамский
Радиоактивный курорт
«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ»

Главный директор — т. Подлинник.

Начальник АФО — т. Отмежуев.

Вход воспрещается

Толпа понуро теснилась за рогаткой, стараясь поближе пробиться к курорту «Вторая молодость». Прижавшись животом к турникету и вытянув длинную шею, стоял совершенно ошеломленный неожиданным поворотом событий доктор Гром. Отмежуев, глядя невидящими глазами, отпихивал его назад.

— А я? — в тоске спрашивал доктор.

После долгого разговора с Подлинником, во время которого собеседники хлопали друг друга по плечу и отчаянно взвизгивали, Подлинник смиловился, и на дощечке появился новый пункт:

Завед. медицинско-правовой
и
методологическо-санитарной
частью

д-р Гром

Администрация тут же распределила между собой функции и воодушевленно принялась за пропаганду и эксплуатацию нового курорта.

Подлинник хлопотал, как насадка. Он скупил в городе множество пивных бутылок и организовал разлив целебной воды, которую и начал продавать по полтиннику за бутылку. Это было, правда, дороже боржома, но оправдывалось сверхъестественными свойствами минерального напитка.

На вопрос, куда пойдут вырученные деньги, главный директор ответил, что 60 % пойдет на улучшение быта курортного персонала, а на остальные будет построен курзал и приглашены из Москвы опереточная труппа и писатель Пильняк для прочтения ряда рассказов из быта мадагаскарских середняков.

Не дремал также заведующий медицинско-правовой и методологическо-санитарной частью — доктор Гром.

В анкетном зале военизированных курсов декламации и пения он в один вечер прочел подряд три лекции: «Вчера, сегодня и завтра колоколамского курорта», «У порога красоты и здоровья» и «Жизнь, на что ты мне дана».

Из последней лекции, а равно и из первых двух, явствовало, что жизнь дана гражданам для того, чтобы потреблять новый минеральный напиток «Вторая молодость».

Уже слепые бандуристы, вертя ручки своих скрипучих инструментов, воспевали будущее Колоколамска, уже выручка главного директора достигла изрядной суммы, и начались споры о принципах разделения ее между участниками нового предприятия, как вдруг дивный лечебно-показательный, методологическо-санитарный, радиоактивный и целебный замок рухнул.

В Приключенческий тупик пришли посланные отделом коммунального хозяйства водопроводчики, разбросали рогатки, опрокинули турникет, заявив, что им нужно починить лопнувшую в доме № 3 фановую трубу. Работу свою они выполнили в полчаса, после чего целебный источник навсегда прекратился.

За доктором-коммерсантом гонялись толпы граждан, успевших испытать радиоактивной водицы. Он валил все на Николу Псова. Но предъявить к Псову претензии граждане не могли.

Узнав, в каких водах он купался, Никола слег в постель, жалуясь на ревматические боли и громко стелая.

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ И ПЛОТНИК

Неслыханный кризис, как ледяной все живое антициклон, пронесся над Колоколамском. Из немногочисленных лавочек и с базарных лотков совершенно исчезла кожа. Исчез хром, исчезло шевро, иссякли даже запасы подошвы.

В течение целой недели колоколамцы недоумевали. Когда же, в довершение несчастья, с рынка исчез брезент, они окончательно приуныли.

К счастью, причины кризиса скоро разъяснились. Разъяснились они на празднике, данном в честь председателя общества «Геть рукопожатие» гражданина Долой-Вышневецкого по поводу пятилетнего его служения делу изжития рукопожатий.

Торжество открылось в лучшем городском помещении — анкетном зале курсов декламации и пения. Один за другим по красному коврику всходили на эстраду представители городских организаций, произносили приветственные речи и вручали юбиляру подарки.

Шесть сотрудников общества «Геть рукопожатие» преподнесли любимому начальнику шесть шевровых портфелей огненного цвета с чемоданными ремнями и ручками.

Дружественное общество «Геть неграмотность» в лице председателя Балюстрадника одарило взволнованного юбиляра двенадцатью хромовыми портфелями крокодильей выделки.

Юбиляр кланялся и благодарил. Оркестр мандолинистов беспрерывно исполнял туш.

Начальник милиции Отмежуев, молодецки хрипя, отпартовал приветствие и выдал герою четыре брезентовых портфеля с мечами и бантами.

Не ударил лицом в грязь и бренд-майор Огонь-Полыхаев. Ему, правда, не повезло. Он спохватился поздно, когда кожи уже не было. Но из этого испытания гражданин Огонь вышел победителем: он разрезал большой шланг и соорудил из него неподобающий резиновый портфель. Это был лучший из портфелей. Он так растягивался, что мог вместить все текущие дела и архивы большого учреждения.

Долой-Вышневецкий плакал.

Речь гражданина Подлинника, выступившего от имени городской торговли и промышленности, надолго еще останется в памяти колоколамцев. Даже через тысячу лет речь Подлинника наряду с речами Цицерона и правозаступника Вакханальского будет почитаться образцом ораторского искусства.

— Вы! — воскликнул Подлинник, тыча указательным пальцем в юбиляра. — Вы — жрец науки, мученик идеи, великой идеи отмены рукопожатий в нашем городе! Вот я плачу перед вами!

Подлинник сделал попытку заплакать, но это ему не удалось.

— Я глухо рыдаю! — закричал он.

И сделал знак рукой.

Немедленно распахнулась дверь и по боковому проходу в залу вкатилась тачка, увитая хвоей. Она была доверху нагружена коллекционными портфелями.

— Я не могу говорить! — проблеял Подлинник.

И захватив в руки груды портфелей, ловко стал метать их в юбиляра, дружелюбно покрикивая:

— Вы академик! Вы герой! Вы мореплаватель! Вы плотник! Я не умею говорить! Горько! Горько!

Он сделал попытку поцеловать юбиляра, но это было невозможно. Долой-Вышневецкий по самое горло был засыпан портфелями и к нему нельзя было подобраться.

Такого юбилея Колоколамск еще никогда не видал.

На другой день утром по городу прошел слух, что кожа наконец-то появилась в продаже. Где появилась кожа, еще никто не знал, но взволнованные граждане на всякий случай наводнили улицы города. К полудню все бежали к рынку.

У мясных рядов вилась длинная очередь. Перед нею под большим зонтом мирно сидел академик, герой, мореплаватель и плотник Долой-Вышневецкий. Пять лет он посвятил великому делу истребления рукопожатий в пределах города Колоколамска, а первый день шестого года отдал торговле плодами своей работы. Он продавал портфели. Они были аккуратно рассортированы с обозначением цены на каждом из них.

— А вот кому хорошие портфели! — зазывал юбиляр. — А вот кому кожа на штиблеты, на сапоги, на дамские лодочки! Ремни на упряжь! Есть портфели бронированные, крокодиловые, резиновые! Лучший оригинальный детский забавный подарок детям на пасху — мечи и банты! А вот кому мечи и банты на детские игрушки!

Стоптавшие обувь колоколамцы торопливо раскупали портфели и сейчас же относили их сапожникам.

Гражданин Подлинник, горько улыбаясь, приторговывал шевровый портфель на туфли жене.

— Я не оратор! — говорил он. — Но десять рублей за этот портфель, с ума сойти! Тоже, мореплаватель!

— У нас без торгу! — отвечал мореплаватель и плотник. — А вот кому портфели бронированные, крокодиловые, резиновые! На сапоги! На дамские лодочки!

Торговал он и на другой день.

В конце концов он превратился в торговца портфелями, дамскими сумочками, бумажниками и ломкими лаковыми поясками. О своей бывшей научной деятельности он вспоминал редко и с неудовольствием.

Так погиб для колоколамской общественности лучший ее представитель — глава общества «Геть рукопожатие».

Двенадцать стульев

Забывшие страницы

АГАФОН ШАХОВ И «МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ»

Мелкая птичья шушера, покрытая первой майской пылью, буянила на деревьях.

У Дома Народов трамваи высаживали граждан и облегченно уносились дальше.

С трех сторон к Дому Народов подходили служащие и исчезали в трех подъездах. Дом стоял большим белым пятиэтажным квадратом, прорезанным тысячью окон. По этажам и коридорам топали ноги секретарей, машинисток, управделов, экспедиторов с нагрузкой, репортеров, курьерш и поэтов. Весь служебный люд принимался неторопливо вершить обычные и нужные дела, за исключением поэтов, которые разносили стихи по редакциям ведомственных журналов.

Дом Народов был богат учреждениями и служащими. Учреждений было больше, чем в уездном городе домов. На втором этаже версту коридора занимала редакция и контора большой ежедневной газеты «Станок».

Окна редакции выходили на внутренний двор, где по кругу спортивной площадки носился стриженный физкультурник в голубых трусиках и мягких туфлях, тренируясь в беге. Еще не загоревшие белые ноги его мелькали между деревьями.

В редакционных комнатах происходили короткие стычки между сотрудниками. Выясняли очередность ухода в отпуск. С криками: «Бархатный сезон» все поголовно сотрудники выражали желание взять отпуск исключительно в августе.

Когда председатель месткома был доведен претензиями до изнурения, репортер Персидский с сожалением оторвался от телефона, по которому узнавал о достижениях акционерного общества «Меринос», и заявил:

— А я не поеду в августе. Запишите меня на июнь. В августе малярия.

— Ну вот и хорошо, — сказал председатель.

Но тут все сотрудники тоже перенесли свои симпатии на июнь. Председатель в раздражении бросил список и ушел.

К Дому Народов подъехал на извозчике модный писатель Агафон Шахов. Стенной спиртовой термометр показывал 18 градусов тепла, но на Шахове было мохнатое демисезонное пальто, белое кашне, каракулевая шапка с проседью и большие полуглубокие калоши — Агафон Шахов заботливо оберегал свое здоровье.

Лучшим украшением лица Агафона Шахова была котлетообразная борода. Полные щеки цвета лососяного мяса были прекрасны. Глаза смотрели почти мудро. Писателю было под сорок. Писать и печататься он начал с 15 лет, но только в позапрошлом году к нему пришла большая слава. Это началось тогда, когда Агафон Шахов стал писать романы с психологией и выносить на суд читателя разнообразные проблемы. Перед читателями, а главным образом читательницами, замелькали проблемы в красивых переплетах, с посвящением на особой странице: «Советской молодежи», «Вузовцам московским посвящаю», «Молодым девушкам». Проблемы были такие: пол и брак, брак и любовь, любовь и пол, пол и ревность, ревность и любовь, брак и ревность. Спрыснутые небольшой долей советской идеологии, романы получили обширный сбыт. С тех пор Шахов стал часто говорить, что его любят студенты. Однако вечно питаться браком и ревностью оказалось затруднительным. Критика зашипела и стала обращать внимание писателя на узость его тем. Шахов испугался. И погрузился в газеты. В страхе он сел было за роман, трактующий о снижении накладных расходов, и даже написал восемьдесят страниц в три дня. Но в развернувшуюся любовную передрягу ответственного работника с тремя дамочками не смог вставить ни одного слова о снижении накладных расходов. Пришлось бросить. Однако восьмидесяти страниц было жалко, и Шахов быстро перешел на проблему растрат. Ответственный работник был обращен в кассира, а дамочки оставлены. Над характером кассира Шахов потрудился и наградил его страстями римского императора Нерона.

Роман был написан в две недели и через полтора месяца увидел свет.

Слезши с извозчика у Дома Народов, Шахов любовно ощупал в кармане новенькую книжку и пошел в подъезд. По дороге писатель все время поглядывал на задники своих калош: не стерлись ли. Он подошел к клетке лифта и стал ждать. Подняться ему нужно было только на второй этаж, но он берег здоровье, да и лифт в Доме Народов полагался бесплатно.

Шахов вошел в отдел быта редакции «Станка», в котором часто печатался, и, ни с кем не поздоровавшись, спросил:

— Платят у вас сегодня? Ну и хорошо. А что, «милостивый государь» еще не растратился?

«Милостивым государем» в редакции и конторе звали кассира Асокина. С него Шахов писал своего героя, и вся редакция, включая самого кассира, знала это.

Сотрудники отрицательно замотали головами. Шахов пошел в кассу получать деньги за рассказ.

— Здравствуй, «милостивый государь», — сказал писатель, — ты, я слышал, деньги даешь сегодня.

— Даю, Агафон Васильевич.

Кассир просунул в окошечко ведомость и химический карандаш.

— Вы, я слышал, произведение новое написали? Ребята рассказывали.

— Написал.

— Меня, говорят, описали?

— Ты там самый главный.

Кассир обрадовался:

— Так вы хоть дайте почитать раз все равно описали.

Шахов достал свежую книжку и тем же карандашом, которым он расписывался в ведомости, надписал на титульном листе: «Тов. Асокину дружески. Агафон Шахов».

— На, читай. Тираж десять тысяч. Вся Россия тебя знать будет.

Кассир благоговейно принял книгу и положил ее в несгораемый шкаф на пачки червонцев.

* * *

«Милостивый государь» Асокин читал новую книгу Агафона Шахова три вечера подряд. С каждой новой страницей сердце кассира наполнялось воодушевлением. Герой книги — он, кассир. Сомнений не было никаких. Асокин узнавал себя во всем. Герой романа имел его привычки, рабски копировал прибаутки, носил один с ним костюм — военную гимнастерку коричневого цвета и брюки, ниспадающие на высокие каблук ботинок.

Кассовая клетка «милостивого государя» была описана фотографически. Агафон Шахов был лишен воображения. Даже фамилия почти была та же: Ажогин. Сперва «милостивый государь» восторгался. Он был описан правильно.

— Любопы знакомый узнает, — говорил кассир с гордостью.

Но уже шестая глава, где автор приписал кассиру кражу из кассы пяти тысяч рублей, вызвала в «милостивом государе» тревожный смех.

Главы седьмая, восьмая и девятая были посвящены описанию титанических кутежей «милостивого государя» со жрицами Венеры в обольстительнейших притонах города Калуги, куда по воле автора скрылся кассир. В этот вечер Асокин не ужинал. Он сидел в сквере на скамейке под самым электрическим фонарем и под его розовым

светом читал о своей фантастической жизни. Сначала он испугался, что о его подвигах узнает начальство, но потом, вспомнив, что никаких подвигов не совершал, успокоился и даже почувствовал себя польщенным. Все-таки никого другого, а именно его выбрал Агафон Шахов в герои нового сенсационного романа.

Асокин почувствовал себя на много выше и умнее того неудачливого растратчика, которого изобразил писатель. В конце концов он даже стал презирать беглого кассира. Во-первых, герой романа предпочел миленькой Наташке («высокая грудь, зеленые глаза и крепкая линия бедер») преступную кокаинистку Эсмеральду («плоская грудь, хищные зубы и горловой тембр голоса»). На месте героя романа Асокин в крайнем случае предпочел бы даже простоватую Фенечку («пышная грудь, здоровый румянец и крепкая линия бедер»), но никак не сволочь Эсмеральду, занимавшуюся хипесом. Дальше «милостивый государь» еще больше возмутился. Его двойник глупо и бездарно проиграл на бегах две тысячи казенных рублей. Асокин, конечно, никогда бы этого не сделал. При мысли о такой ребяческой глупости Асокин досадливо сплюнул. Одним только писатель убоготворил Асокина — описанием кабаков, ужинов и различного рода закусок. Хорошо были описаны кабаки — с тонким знанием дела, с пылом молодости, не знающей катара, с любовью, с энтузиазмом и приятными литературными подробностями. Семга, например, сравнивалась с лоном молодой девушки, родом с Хиоса. Зернистая икорка, эта очаровательная спутница французских бульварных и русских полусерьезных романов, не была забыта. Ее было описано, по меньшей мере, полпуда. Ее ели все главные и второстепенные персонажи романа. Асокину стало больно. Он никому не дал бы икры — сам бы съел. Шампанские бутылки, мортеллевский коньяк (лучшие фирмы автору романа не были известны), фрукты, шелковая выпуклость дамских ножек, метрдотели, крахмальные скатерти, автомобили и сигары — все это смешалось в роскошную грудку, из-под которой растратчик выполз лишь в последней главе с тем, чтобы тотчас отправиться в уголовный розыск с повинной.

Дочитав роман, называвшийся «Бег волны», Асокин поежилась от вечернего холодка и пошел домой спать.

Заснуть он не смог. Двойник давил на его воображение. На другой день, уходя из конторы, «милостивый государь» унес с собой пять тысяч рублей, ровно столько, сколько растратил его преступный двойник. «Милостивый государь» решил использовать деньги рационально: заимствовать все достижения Ажогина и, учтя его ошибки, избежать недочетов.

Вечером Асокин учитывал достижения и избегал недочетов в компании девиц с Петровских линий. Обмен опытом обошелся в сто рублей. На рассвете отрезвевший «милостивый государь» вы-

шел на Тверской бульвар и побрел от памятника Пушкина к памятнику Тимирязева.

В редакцию в этот день он не пришел. У кассы образовалась очередь.

* * *

За день до суда, назначенного на двадцать первое июня, кассир Асокин пришел к Агафону Шахову, сел на диван и заплакал. Писатель в купальном халате полулежал в кресле и курил самокрутку.

— Пропал я, Агафон Васильевич, — сказал кассир, — засудят меня теперь.

— Как же это тебя угораздило? — наставительно спросил Шахов.

— Из-за вас пропал, Агафон Васильевич.

— А я тут при чем, интересно знать?

— Смутили меня, товарищ Шахов. Клеветы про меня написали. Никогда я таким не был.

— Чего же тебе, дура, надо от меня?

— Ничего не надо. Только через вашу книгу я пропал, завтра судить будут. А главное — место потерял. Куда теперь приткнешься?

— Неужели же моя книга так подействовала?

— Подействовала, Агафон Васильевич. Прямо так подействовала, что и сам не знаю, как случилось все.

— Замечательно! — воскликнул писатель.

Он был польщен. Никогда еще не видел он так ясно воздействия художественного слова на интеллект читателя. Жалко было лишь, что этот показательный случай останется неизвестным критике и читательской массе. Агафон запустил пальцы в свою котлетообразную бороду и задумался. Асокин выбирал слезу из глаза темным носовым платком.

— Вот что, братец, — вымолвил писатель задушевным голосом, — в чем, собственно, твое дело? Чего ты боишься? Украл? Да, украл сто рублей, поддавшись неотразимому влиянию романа Агафона Шахова «Бег волны», издательство «Васильевские четверги», тираж 10.000 экземпляров. Москва, 1927 год, стр. 269, цена в папке 2 руб. 25 коп.

— Очень понимаю-с. Так оно и было. Полагаете, Агафон Васильевич, условно дадут?

— Ну, это уж обязательно. Только ты все как есть выкладывай. Так и так, скажи, писатель Агафон Шахов, мол, моральный мой убийца.

— Да разве ж я посмею, Агафон Васильевич, осрамить автора!..

— Срами!

— Да разве ж я вас выдам?!..

— Выдавай, голубчик. Моя вина.

— Ни в жизнь на вас тень я не брошу!

— Бросай, милый, большую широколиственную тень брось! Да не забудь про порнографию рассказать, про голых девочек, про Фенечку не забудь. Помнишь, как там сказано?

— Как же, Агафон Васильевич! «Пышная грудь, здоровый румянец и крепкая линия бедер».

— Вот, вот, вот. И Эсмеральдочка. Хищные зубы, какая-то там линия бедер.

— Наташка у вас красивенькая получилась. Раз меня уволили, я вашу книжку каждый день читаю.

— И тем лучше. Почитай ее еще сегодня вечером, а завтра все выкладывай. Про меня скажи, что, мол, я деморализатор общества, скажи, что взрослому мужчине после моей книжки прямо удержу нет. Захватывающая, скажи, книжка и описаны, мол, в ней сцены невыразимой половой распущенности.

— Так и говорить?

— Так и говори: Роман Агафона Шахова «Бег волны». Не забудешь? Издательство «Васильевские четверги», тираж 10.000 экземпляров, Москва, 1927 г., стр. 269, цена в папке 2 руб. 25 коп. Скажи, что, мол, во всех магазинах, киосках и на станциях железных дорог продается.

— Вы мне, Агафон Васильевич, лучше запишите, а то забуду.

Писатель опустился в кресло и набросал полную исповедь ратратчика. Тут были главным образом бедра, несколько раз указывалась цена книги, несомненно, невысокая для такого большого количества страниц, размер тиража и адрес склада издательства «Васильевские четверги» — Кошков пер., дом № 21, кв. 17/а.

Обнадеженный кассир выпросил на прощанье новую книгу Шахова под названием «Повесть о потерянной невинности или в борьбе с халатностью».

— Так ты иди, братец, — сказал Шахов, — и не грешь больше. Нечистоплотно это.

— Так я пойду, Агафон Васильевич. Значит, вы думаете, дадут условно?

— Это от тебя зависит. Ты больше на книгу вали. Тогда и выкрутишься.

Выпроводив кассира, Шахов сделал по комнате несколько танцевальных движений и промурлыкал:

— Бейте в бубны, пусть звенят гита-ары...

Потом он позвонил в издательство «Васильевские четверги».

— Печатайте четвертое издание «Бега волны», печатайте, печатайте, не бойтесь! Это говорит вам Агафон Шахов!

СКУЛЬПТОР ВАСЯ, НИКИФОР ЛЯПИС И ДРУГИЕ

По коридору разгуливали сотрудники, поедая большие, как лапти, бутерброды. Был перерыв для завтрака. Бронеподростки гуляли парочками. Из комнаты в комнату бегал Авдотьев, собирая друзей автомобиля на экстренное совещание. Но почти все друзья автомобиля сидели в секретариате и слушали Персицкого, который рассказывал историю, услышанную им в Обществе художников.

Вот эта история.

Рассказ о несчастной любви

В Ленинграде, на Васильевском острове, на Второй линии жила бедная девушка с большими голубыми глазами. Звали ее Клотильдой.

Девушка любила читать Шиллера, мечтала, сидя на парапете Невской набережной, и есть за обедом непрожаренный бифштекс.

Но девушка была бедна. Шиллера было очень много, а мяса совсем не было. Поэтому, а еще и потому, что ночи были белые, Клотильда влюбилась. Человек, поразивший ее своей красотой, был скульптором. Мастерская его помещалась у Новой Голландии.

Сидя на подоконнике, молодые люди смотрели в черный канал и целовались.

В канале плавали звезды, а может быть, и гондолы. Так, по крайней мере, казалось Клотильде.

— Посмотри, Вася, — говорила девушка, — это Венеция. Зеленая заря светит позади черно-мраморного замка.

Вася не снимал своей руки с плеча девушки. Зеленое небо розовело, потом желтело, а влюбленные все не покидали подоконника.

— Скажи, Вася, — говорила Клотильда, — искусство вечно?

— Вечно, — отвечал Вася, — человек умирает, меняется климат, появляются новые планеты, гибнут династии, но искусство непоколебимо. Оно вечно.

— Да, — говорила девушка, — Микеланджело.

— Да, — повторял Вася, вдыхая запах ее волос, — Пракситель.

— Канова.

— Бенвенуто Челлини.

И опять кочевали по небу звезды, тонули в воде канала и туберкулезно светили к утру.

Влюбленные не сходили с подоконника. Мяса было совсем мало. Но сердца их были согреты именами гениев.

Днем скульптор работал, он ваял бюсты. Но великой тайной были покрыты его труды. В часы работы Клотильда не входила в мастерскую. Напрасно она умоляла:

— Вася, дай посмотреть мне, как ты творишь.

Но он был непреклонен. Показывая на бюст, покрытый мокрым холстом, он говорил ей:

— Еще не время, Клотильда, еще не время. Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут.

Плыли звезды...

Однажды счастливой девушке подарили контрамарку в кино. Шла картина под названием «Когда сердце должно замолчать»; в первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе, девушка была необычайно взволнована содержанием картины:

«Скульптор Ганс ваял бюсты. Слава шла к нему большими шагами. Жена его была прекрасна. Но они поссорились. В гневе прекрасная женщина разбила молотком бюст — великое творение скульптора Ганса, над которым он трудился три года. Слава и богатство погибли под ударом молотка. Горе Ганса было безысходным. Он повесился, но раскаявшаяся жена вовремя вынула его из петли. Затем она быстро сбросила свои одежды.

— Лепи меня! — воскликнула она. — Нет на свете тела прекраснее моего.

— О, — возразил Ганс. — Как я был слеп. И он, охваченный вдохновением, изваял статую жены. И это была такая статуя, что мир задрожал от радости. Ганс и его прекрасная жена прославились и были счастливы до гроба».

Потрясенная увиденным, Клотильда пошла из кино в Васину мастерскую. Все смешалось в ее душе. Шиллер и Ганс, звезды и мрамор, бархат и лохмотья.

— Вася! — окликнула она.

Он был в мастерской. Он лепил свой дивный бюст — человека с длинными усами и в толстовке. Лепил его с фотографической карточки.

— И вся-то наша жизнь есть борьба, — напевал скульптор, придавая бюсту последний лоск.

И в эту же секунду бюст с грохотом разлетелся на куски от страшного удара молотком. Клотильда сделала свое дело. Протягивая Васе руку, запачканную в гипсе, она гордо сказала:

— Почистите мне ногти.

И она удалась. До слуха ее донесли странные звуки. Она поняла в чем дело: великий скульптор рыдал над разбитым творением.

Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:

— Лепи меня. Нет на свете тела прекраснее моего.

Она вошла и увидела: Вася не висел в петле. Он сидел на высокой табуреточке спиной к вошедшей Клотильде и что-то делал.

Но девушка не смутилась. Она сбросила свои одежды, покрываясь от холода гусиной кожей и вскричала, лязгая зубами:

— Лепи меня, Вася, нет на свете тела прекраснее моего.

Вася обернулся. Слова песенки застряли на его устах.

И тут Клотильда увидела, что он делал: он лепил дивный бюст — человека с длинными усами и в толстовке. Фотографическая карточка стояла на столике. Вася придавал скульптуре последний лоск.

— Что ты делаешь? — спросила Клотильда.

— Я леплю бюст заведующего кооплавкой № 28.

— Но ведь я же вчера его разбила, — пролепетала Клотильда, — почему же ты не повесился? Ведь ты же говорил, что искусство вечно. Я уничтожила твоё вечное искусство. Почему же ты жив, человек?

— Вечное-то оно вечное, — ответил Вася, — но заказ-то нужно сдать. Ты как думаешь?

Вася был нормальным халтурщиком-середнячком.

А Клотильда слишком много читала Шиллера...

— Так вот, Ляписус, не пугайте Хиночку Члек своим мастерством. Она нежная женщина. Она верит в ваш талант. Больше, кажется, в это никто не верит. Но если вы еще месяц будете бегать по «Гигроскопическим вестникам», то и Хина отвернется от вас. Кстати, полтинника я вам не дам. Уходите, Ляписус.

Могучая кучка. Золотоискатели

Как и следовало ожидать, рассказ о Клотильде не вызвал в бараньей душе Ляписа никаких эмоций.

С криками: «Жертва громил», «Налетчики скрылись» и «Тайна редакторского кабинета» в комнату вбежал Степа.

— Персицкий, — сказал он, — иди скорее на место происшествия и пиши в «Что случилось за день». Сенсационный случай на пять строчек петита.

Оказалось, что пришедший в свою комнату редактор нашел огромную ручку с пером № 86 лежащей на полу. Перо воткнулось в подножку дивана. А новый, купленный на аукционе редакторский стул имел такой вид, будто бы его клевали вороны. Вся обшивка

была прорвана, набивка выброшена на пол и пружины высовывались, как готовые к укусу змеи.

— Мелкая кража, — сказал Персицкий, — если подберутся еще три кражи — дадим заметку в три строки.

— В том-то и дело, что не кража. Ничего не украли. Только стул исковеркали.

— Совсем как у Ляпсуса, — заметил Персицкий, — похоже на то, что Ляпсус не врал.

— Вот видите, — гордо сказал Ляпис, — дайте полтинник.

Принесли вечернюю газету. Персицкий стал ее проглядывать.

Обычный читатель газету читает. Журналист сначала рассматривает ее, как картину. Его интересует композиция.

— Я бы все-таки так не верстал, — сказал Персицкий, — наш читатель не подготовлен к американской верстке... Карикатура, конечно, на Чемберлена... Очерк о Сухаревой башне... Ляпсус, писанули бы и вы что-нибудь о Сухаревском рынке — свежая тема — всего только сорок очерков за год печатается... Дальше...

Персицкий с легким презрением начал читать отдел происшествий, делавшийся, по его пристрастному мнению, бездарно.

— Столетний материал... Этот растратчик у нас уже был... Неудавшаяся кража в театре Колумба. Э-э-э, товарищи, это что-то новое... Слушайте.

И Персицкий прочел вслух:

Неудавшаяся кража в театре Колумба

Двумя неизвестными злоумышленниками, проникшими в режизитную театра Колумба, были унесены четыре старинных стула.

Во дворе злоумышленники были замечены ночным сторожем и, преследуемые им, скрылись, бросив стулья.

Любопытно отметить, что стулья были специально приобретенны для новой постановки гоголевской «Женитьбы».

— Нет, тут что-то есть. Это какая-то секта похитителей стульев.

— Маньяки.

— Ну, не скажи. Действуют они довольно здраво. Побывали у Ляпсуса, у нас, в театре.

— Да.

— Что-то они ищут, товарищи.

Тут Никифор Ляпис внезапно переменился в лице. Он неслышно вышел из комнаты и побежал по коридору. Через пять минут раскачивающийся трамвай уносил его к Покровским воротам.

Ляпис обитал в доме № 9 по Казарменному переулку совместно с двумя молодыми людьми, носившими мягкие шляпы. Ляпис по-

сил капитанскую фуражку с гербом Нептуна — властителя вод. Комната Ляписа была проходной. Рядом жила большая семья.

Когда Ляпис вошел к себе, Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник.

Это был человек созвучный эпохе. Он делал все то, что она требовала.

Эпоха требовала стихи, и Хунтов писал их во множестве.

Менялись вкусы. Менялись требования. Эпоха и современники нуждались в героическом романе на темы гражданской войны. И Хунтов писал героические романы.

Потом требовались бытовые повести. Созвучный эпохе Хунтов принимался за повести.

Эпоха требовала много, но у Хунтова почему-то не брала ничего.

Теперь эпоха требовала пьесу. Поэтому Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. От человека, собирающегося писать пьесу, можно ждать, что он начнет изучать нравы того социального слоя людей, который он собирается вывести на сцену. Можно ждать, что автор предполагаемой к написанию пьесы примется обдумывать сюжет, мысленно очерчивать характеры действующих лиц и придумывать сценические квилпрокво. Но Хунтов начал с другого конца — с арифметических выкладок. Он, руководствуясь планом зрительного зала, высчитывал средний валовый сбор со спектакля в каждом театре. Его полное, приятное лицо морщилось от напряжения, брови подымались и опадали.

Хунтов быстро прочеркивал в записной книжке колонки цифр — он умножал число мест на среднюю стоимость билета, причем производил вычисления по два раза: один раз учитывал повышенные цены, а другой раз — обыкновенные.

В голове московских зрелищных предприятий по количеству мест и расценкам на них шел Большой Академический театр. Хунтов расстался с ним с великим сожалением. Для того чтобы попасть в Большой театр, нужно было бы написать оперу или балет. Но эпоха в данный отрезок времени требовала драму. И Хунтов выбрал самый выгодный театр — Московский Художественный Академический. Качалов, думалось ему, и Москвин под руководством Станиславского сбор еделают. Хунтов подсчитал авторские проценты. По его расчетам, пьеса должна была пройти в сезоне не меньше ста раз. Шли же «Дни Турбиных», думалось ему. Гонорару набегало много. Еще никогда судьба не сулила Хунтову таких барышей.

Оставалось написать пьесу. Но это беспокоило Хунтова меньше всего. Зритель дурак, думалось ему.

— Мировой сюжет, — возгласил Ляпис, подходя к человеку, непрерывно звучащему в унисон с эпохой.

Хунтову сюжет был нужен, и он живо спросил:

— Какой сюжет?

— Классный, — ответил Ляпис.

Хунтов приготовился уже записать слова Ляписа, но подозрительный по природе автор многоликого Гаврилы замолчал.

— Ну. Говори же.

— Ты украдешь.

— Я у тебя часто крал сюжеты?

— А повесть о комсомольце, который выиграл сто тысяч рублей.

— Да, но ее же не взяли.

— Что у тебя вообще брали! А я могу написать замечательную поэму.

— Ну, не валяй дурака. Расскажи.

— А ты не украдешь?

— Честное слово!

— Сюжет классный. Понимаешь, такая история. Советский изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул. И умер. Жена ничего не знала и распродала стулья. А фашисты стали разыскивать стулья. А комсомолец узнал про стулья, и началась борьба. Тут можно такое накрутить...

Хунтов забегал по комнате, описывая дуги вокруг опустошенного воробьяниновского стула.

— Ты дашь этот сюжет мне.

— Положим.

— Ляписус. Ты не чувствуешь сюжета. Это не сюжет для поэмы. Это сюжет для пьесы.

— Все равно. Это не твое дело. Сюжет мой.

— В таком случае я напишу пьесу раньше, чем ты успеешь написать заглавие своей поэмы.

Спор, разгоревшийся между молодыми людьми, был прерван приходом Ибрагима.

Это был человек легкий в обхождении, подвижный и веселый. Он был тучен. Воротнички душили его. На лице, шее и руках сверкали веснушки. Волосы были цвета сбитой яичницы. Из рта валил густой дым. Ибрагим курил сигары «Фигаро» — 2 штуки 25 копеек. На нем было парусиновое подобие визитки, из карманов которой высовывались нотные свертки. Матерчатая панамой сидела на его темени корзиночкой. Ибрагим обливался грязным потом.

— О чем спор? — спросил он пронзительным голосом.

Композитор Ибрагим существовал милостями своей сестры. Из Варшавы она присылала ему новые фокстроты. Ибрагим переписывал их на нотную бумагу, менял название «Любовь в океане» на «Амброзия» или «Флирт в метро» на «Сингапурские ночи» и, снабдив ноты стихами Хунтова, сплавлял их в музыкальный сектор.

— О чем спор? — повторил он.

Соперники воззвали к беспристрастию Ибрагима. История о фашистах была рассказана во второй раз.

— Поэму нужно писать, — твердил Ляпис-Трубецкой.

— Пьесу! — кричал Хунтов.

Но Ибрагим мигом разрешил тяжбу.

— Опера, — сказал Ибрагим, отдуваясь. — Из этого выйдет настоящая опера с балетом, хорами и великолепными партиями.

Его поддержал Хунтов. Он сейчас же вспомнил величину сборов Большого театра. Упивавшегося Ляписа соблазнили рассказами о грядущих выгодах. Хунтов ударял ладонью по справочнику и выкрикивал цифры, сбивавшие все представления Ляписа о богатстве.

Началось распределение творческих обязанностей. Сценарий и прозаическую обработку взял на себя Хунтов. Стихи достались Ляпису. Музыка должен был написать Ибрагим. Писать решили здесь же и сейчас же.

Хунтов сел на искалеченный стул и разборчиво написал сверху листа: «Акт первый».

— Вот что, други, — сказал Ибрагим, — вы пока там нацарапаете, опишите мне главных действующих лиц. Я подготовлю кой-какие лейтмотивы. Это совершенно необходимо.

Золотоискатели принялись вырабатывать характеры действующих лиц. Наметились приблизительно такие лица:

Уголино — гроссмейстер ордена фашистов (бас).

Альфонсина — его дочь (колоратурное сопрано).

Т. Митин — советский изобретатель (баритон).

Сфорца — фашистский принц (тенор).

Гаврила — сельский комсомолец (переодетое меццо-сопрано).

Нина — комсомолка, дочь попа (лирич. сопрано).

(Фашисты, самогонщики, капелланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень Митина, пионеры и др.).

— Я, — сказал Ибрагим, которому открылись благодарные перспективы, — пока что напишу хор капелланов и сицилийские пляски. А вы пишите первый акт. Побольше арий и дуэтов.

— А как мы назовем оперу? — спросил Ляпис.

Но тут в передней послышался стук копыт о гнилой паркет, тихое ржание и квартирная перебранка. Дверь в комнату золотоискателей отворилась и гражданин Шарипов, сосед, ввел в комнату худую, тощую лошадь с длинным хвостом и седеющей мордой.

— Гоу! — закричал Шарипов на лошадь. — Ну-о, што б тебя...

Лошадь испугалась, повернулась и толкнула Ляписа крупом. Золотоискатели были настолько поражены, что в страхе прижались к стене. Шарипов потянул лошадь в свою комнату, из которой повыскакивало множество зеленоватых пацанят. Лошадь заупрямилась и ударила копытом. Квадратик паркета выскочил из гнезда и, крутясь, полетел в раскрытое окно.

— Фатыма! — закричал Шарипов страшным голосом. — Толкай сзади.

Со всего дома в комнату золотоискателей мчались жильцы. Ляпис вопил не своим голосом. Ибрагим иронически насвистывал

«Амброзию». Хунтов размахивал списком действующих лиц. Лошадь тревожно косила глазом и не шла.

— Гоу... — сказал Шарипов вяло. — О-о-о, черт...

Но тут золотоискатели опомнились и потребовали объяснений. Пришел управдом с дворником.

— Что вы делаете? — спросил управдом. — Где это видано! Как можно вводить лошадь в жилую квартиру?

Шарипов вдруг рассердился.

— Какое тебе дело! Купил лошадь. Где поставить? Во дворе украдут...

— Сейчас же уведите лошадь! — истерически кричал управдом. — Если вам нужна конина — покупайте в мясной.

— В мясной дорого, — сказал Шарипов. — Гоу. Ты... Проклятая... Фатыма...

Лошадь двинулась задом и согласилась наконец идти туда, куда ее вели.

— Я вам этого не разрешаю, — говорил управдом, — вы ответите по суду.

Тем не менее Шарипов увел лошадь в свою комнату и, непрерывно тпрукая, привязал животное к оконной ручке. Через минуту пробежала Фатыма с большой и легкой охапкой сена.

— Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно, — завопил Ляпис.

— Не беспокойтесь, — сказал управдом, уходя, — работайте.

Золотоискатели, прислушиваясь к стуку копыт, снова засели за работу.

— Так как же мы назовем оперу? — спросил Ляпис.

— Предлагаю назвать «Железная роза».

— А роза тут при чем?

— Тогда можно иначе. Например, «Меч Уголино».

— Тоже несовременно.

— Как же назвать?

Остановились на отличном интригующем названии — «Луч смерти». Под словами «акт первый» Хунтов недрогнувшей рукой написал: «Раннее утро. Сцена изображает московскую улицу, непрерывный поток автомобилей, автобусов и трамваев. На перекрестке — Уголино в поддевке. С ним — Сфорца».

— Сфорца в пижаме, — вставил Ляпис.

— Не мешай, дурак. Пиши лучше стишки для ариозо Митина. На улице в пижаме не ходят.

И Хунтов продолжал писать: «С ним Сфорца в костюме комсомольца».

Дальше писать не удалось. Управдом с двумя милиционерами стали выводить лошадь из шариповской комнаты.

— Фатыма! — кричал Шарипов. — Держи, Фатыма!

Ляпис схватил со стола батон и трусливо шлепнул им по костлявому крупу лошади.

— Тащи, — вопил управдом.

Лошадь крестила хвостом направо и налево. Милиционеры пытели. Фатыма с братьями обнимали худые колени лошади. Гражданин Шарипов безнадежно кричал «гоу».

Золотоискатели пришли на помощь представителям закона, и живописная группа с шумом вывалилась в переднюю.

В опустевшей комнате пахло цирковой конюшней. Внезапный ветер сорвал со стола оперные листочки и вместе с соломой закружил по комнате. Ариозо товарища Митина взлетело под самый потолок. Хор капелланов и зачатки сицилийской пляски пританцовывали на подоконнике.

С лестницы доносились крик и брезгливое ржание. Золотоискатели, милиционеры и представители домовой администрации напрягали последние силы. Одолев упорное животное, соавторы собрали развеванные листочки и продолжали писать без помарок.

ПАПА-МОДЕРАТО

Молодой человек, который называл себя Борисом Древляниным, а на самом деле носил скромную греческую фамилию Папа-Модерато, с вызывающей нежностью поглядывал на Зосю, которая накрывала стол к обеду. Она переходила от старомодного величественного буфета с зеркальными илюминаторами и резными птицами на дверках к столу и выгружала посуду. Красный борщ, оставленный ею на медленном огне перед купанием, был уже готов.

— Ну, как ваши столовники? — спросил Древлянин страстным голосом.

Ему очень нравилась Зося Синицкая, яблочная родинка на ее щеке и короткие, разлетающиеся волосы с гимназическим пробормом на боку. У Зоси был тот спортивный вид, который за последнее время приобрели все красивые девушки в мире. Папе-Модерато хотелось бы напрямик рассказать Зосе о чувствах, обуревавших его беспокойное сердце. Но он еще не решился. И покуда всю свою нежность, всю свою страстность вкладывал в обиходные служебные фразы:

— Ну, как ваши столовники? — повторил он голосом человека, умирающего от любви.

— У вас насморк? — спросила Зося.

— Нет. А что?

— Отчего же вы говорите таким странным голосом? Найдите горчицу, пожалуйста.

— Ну, как ваши столовники? — с упреком переспросил Папа.

— Разъехались в отпуск, остался один Корейко.

— Это какой? Толстый и рыжий?

— Да нет же. Александр Иванович. Со вставным глазом. Вы у нас его несколько раз встречали.

— Фу! Вот понятия не имел! Я думал, что со вставным глазом Подвысоцкий.

— Ничего не Подвысоцкий.

— А я думал, что Подвысоцкий! — сказал Борис Древлянин, возвращаясь к серенадным интонациям.

Фразу эту следовало понимать так: «Пойми мою душу!»

— Увы, это не Подвысоцкий! — ответила Зося.

Это значило: «Можете не воображать!»

— А я думал Подвысоцкий.

На этот раз в голосе Древлянина послышался грохот мандолины.

— Индюк думал, думал тай сдох, — ответила Зося.

И, задвигав плечами, отправилась на кухню. Папа-Модерато потащился за ней.

Внучка ребусника, отгибая голову, принялась стаскивать крючком железные фэйерки с огня, а когда обернулась, чуть не наступила на Папу-Модерато. Папа лежал на спине, как перевернутый жук, и, глядя с этой неудобной позиции на угол плиты, восклицал:

— Какой ракурс! Вот заснять бы! Какая кастрюля получается! Мировая кастрюля!

— Встаньте! — закричала Зося. — Что это за шутки?

Но Модерато не вставал. Этот молодой человек был отравлен сильнейшим из кинематографических ядов — ядом кинофакта.

Год тому назад тихий греческий мальчик с горящими любопытствующими глазами из Папы-Модерато превратился в Бориса Древлянина. Это случилось в тот день, когда он окончил режиссерский цикл кинематографических курсов и считал, что лишь отсутствие красивого псевдонима преграждает ему дорогу к мировой известности. Свой досуг Древлянин делил между кинофабрикой и пляжем. На пляже он загорал, а на фабрике всем мешал работать. В штат его не приняли, и он считался не то кандидатом в ассистенты, не то условным аспирантом.

В то время из Москвы в Одессу прикатил поруганный в столице кинорежиссер — товарищ Крайних-Взглядов, великий борец за идею кинофакта. Местная киноорганизация, подавленная полным провалом своих исторических фильмов из древнеримской жизни, пригласила товарища Крайних-Взглядов под свою стеклянную сень.

— Долой павильоны! — сказал Крайних-Взглядов, входя на фабрику. — Долой актеров, этих апологетов мещанства! Долой бутафорию! Долой декорации! Долой надуманную жизнь, гниющую под светом юпитеров! Я буду обыгрывать вещи! Мне нужна жизнь, как она есть!

К работе порывистый Крайних-Взглядов приступил на другой же день.

Розовым утром, когда человечество еще спало, новый режиссер выехал на Соборную площадь, вылез из автомобиля, лег животом

на мостовую и с аппаратом в руках осторожно, словно боясь спугнуть птицу, стал подползать к урне для окурков. Он установил аппарат у подножия урны и снял ее с таким расчетом, чтобы на экране она как можно больше походила на гигантскую сторожевую башню. После этого Крайних-Взглядов постучался в частную квартиру и, разбудив насмерть перепуганных жильцов, проник на балкон второго этажа. Отсюда он снова снимал ту же самую урну, правильно рассчитывая, что на пленке она приобретет вид жерла сорокадвухсантиметрового орудия. Засим, немного отдохнув, Крайних-Взглядов сел в машину и принялся снимать урну с ходу. Он стремительно наезжал на нее, застигал ее врасплох и крутил ручку аппарата, наклоненного под углом в сорок пять градусов.

Борис Древлянин, которого прикомандировали к новому режиссеру, с восхищением следил за обработкой урны. Ему самому тоже удалось принять участие в съемке. Засняв тлеющий окурочек папиросы в упор, отчего он приобрел вид паровой трубы, извергающей дым и пламя, Крайних-Взглядов обратился к живой натуре. Он снова лег на тротуар — на этот раз на спину — и велел Древлянину шагать через него взад и вперед. В таком положении ему удалось прекрасно заснять подошвы башмаков Древлянина. При этом он достиг того, что каждый гвоздик подошвы походил на донышко бутылки. Впоследствии этот кадр, вошедший в картину «Беспристрастный объектив», назывался «Поступь миллионов».

Однако все это было мелко по сравнению с кинематографическими эксцессами, которые Крайних-Взглядов учинил на железной дороге. Он считал своей специальностью съемки под колесами поезда. Этим он на несколько часов расстроил работу железнодорожного узла. Завидев тощую фигуру режиссера, лежащего между рельсами в излюбленной позе — на спине, машинисты бледнели от страха и судорожно хватались за тормозные рычаги. Но Крайних-Взглядов подбодрял их криками, пригласая прокатиться над ним. Сам же он медленно вертел ручку аппарата, снимая высокие колеса, проносящиеся по обе стороны его тела.

Товарищ Крайних-Взглядов странно понимал свое назначение на земле. Жизнь, как она есть, представлялась ему почему-то в виде падающих зданий, накренившихся набок трамвайных вагонов, приплюснутых или растянутых объективом предметов обихода и совершенно перекоренных на экране людей. Жизнь, которую он так жадно стремился запечатлеть, выходила из его рук настолько помятой, что отказывалась узнавать себя в крайних-взглядовском зеркале.

Тем не менее у странного режиссера были поклонники, и он очень этим гордился, забывая, что нет на земле человека, у которого не было бы поклонников. И долго еще после отъезда

режиссера Борис Древлянин тщательно копировал его эксцентричные методы.

— Встаньте, говорят вам! — кричала Зося. — Я вас сейчас буду пинать ногами!

Папа-Модерато неохотно поднялся с пола и вернулся в комнату, где уже сидел за обеденным столом Александр Иванович Корейко.

Папу-Модерато Александр Иванович терпеть не мог, хотя виделся с ним только несколько раз. Папе-Модерато было девятнадцать лет. Корейко было тридцать пять. У Корейко было 46 рублей в месяц официально и десять миллионов неофициально. У Модерато официально не было ни копейки (он жил у родителей), а неофициально он умудрялся зарабатывать рублей двадцать в месяц, изображая при случае эпизодические роли римлян. Но Корейко не смел брать из своих миллионов ни копейки, а Папа тратил свои двадцать рублей с такой помпой, что кинематографическая Одесса долго содрогалась после его кутежей.

Он увозил Зосю в городской театр и брал там ложу бельэтажа за 8 рублей. Потом требовал, чтобы из буфета в ложу принесли столик. Это уносило еще три рубля. Оставшиеся деньги поглощал долгий веселый ужин с пивом, музыкой и цветами в ресторане Церабкоопа. После этого, правда, наступали суровые будни, и Борис Древлянин целый месяц вымаливал у знакомых папиросы, но миллионер все же ему завидовал. Такие кутежи были ему не по средствам.

Александр Иванович просидел у Синицких до вечера. А потом все трое пошли бродить по городу.

— Как в кино хочется! — воскликнула Зося. — Хорошо бы «Чикаго» посмотреть!

— Стоит ли, — сурово сказал Корейко, — в такую погоду. Давайте лучше погуляем.

В раскрытых настежь буфетах искусственных минеральных вод шипели керосиноккалильные лампы. Под сильным белым светом жирно блестела слоистая баклава на железных листах. Стекланные цилиндры с сиропами на вертящейся подставке мерцали аптекарскими цветами. Персы с печальными лицами калили на жаровнях орехи, и угарный дым манил гулящих.

— В кино хочется! — капризно повторила Зося. — Орехов хочется, баклавы, сельтерской с сиропом!

— Действительно хорошо бы «Чикаго» посмотреть, — сказал Древлянин и, опомнившись, добавил: — Хотя я, знаете, признаю исключительно неигровой фильм. Но у меня ни копейки нет. Может быть, у вас, товарищ Корейко, найдется подкожный рубль? Я б вам в пятницу отдал.

— Нету, — ответил миллионер, разводя руками, — честное слово.

— Ужасающее положение, — сказала Зося. — Когда вы уже разбогатеете, Древлянин?

— Скоро, — ответил Папа-Модерато. — С будущего года меня обещали взять на штат. А это пахнет жалованием в шестьдесят рублей. А съемочные! Тоже рублей пятьдесят наберется! Скоро я стану богатым женихом.

«Дурак, — подумал Корейко, — дубина! Он будет нищим всю свою жизнь! Ничтожество! Пятьдесят рублей съемочных! А миллион съемочных не хочешь?»

Для того чтобы не расстаться с Зосей, Корейко решил был скомпрометировать себя на рубль, но рубля у него не было. Сейчас в кармане у него в плоской железной коробке от папирос «Кавказ» лежало десять тысяч рублей, бумажками по двадцать пять червонцев. Эти деньги он не успел передать на покупку олова в прутиках. Но, если бы даже он сошел с ума и решил обнаружить хотя бы одну бумажку, ее все равно ни в одном кино нельзя было бы разменять.

— Денежки не малые! — ожесточенно сказал он. — Сто десять рублей в месяц.

— А вы на мне женитесь, Древлянин, когда разбогатеете? — спросила Зося.

— А вы за меня пойдете?

— За такого богатого всякая пойдет, — сказала Зося.

— Нет, это черт знает что! — закричал вдруг Папа-Модерато. — Я тоже хочу в кино! Я молод и намерен жить. Подождите минуточку. Я сейчас! Пойду потрогаю за вымя Гришку Блоха!

Вслед за этими непонятными словами Папа-Модерато бросился бежать. Трижды его осветили буфетные прожектора, а потом он исчез в темноте.

Оставшись с Зосей, Александр Иванович не сказал ни слова. Древлянин вернулся очень быстро, огромными прыжками.

— Шесть гривен! — закричал он издали. — На два билета хватит!

— А как же я? — спросил Александр Иванович.

Миллионеру очень хотелось в кино. Ему казалось невозможным оставить Зосю наедине с проклятым греком. Но Папа-Модерато нетерпеливо попрощался и увлек девушку под тусклую вывеску кино «Червоный летун»...

— Проклятая страна! — бормотал Корейко. — Страна, в которой миллионер не может повести свою невесту в кино!

Сейчас Зося казалась ему невестой. Он не сомневался в том, что если покажет Зосе веселую богатую жизнь, то она отпугнет Древлянина. Зосе нужно показать Крым, теплоходы, пальмы, международные вагоны. И среди этого невиданного ею блеска она даже не заметит, что у Корейко стеклянный глаз, что он тяжелый человек и что он старше ее на восемнадцать лет.

Фельетоны

ИХ БИН С ГОЛОВЫ ДО НОГ

Была совершена глупость, граничащая с головотяпством и еще чем-то.

Для цирковой программы выписали немецкий аттракцион — неустрашимого капитана Мазуччио с его говорящей собакой Брунгильдой (заметьте, цирковые капитаны всегда бывают неустрашимые).

Собаку выписал коммерческий директор, грубая, нечуткая натура, чуждая веяниям современности. А цирковая общественность проспала этот вопиющий факт.

Опомнились только тогда, когда капитан Мазуччио высадился на Белорусско-Балтийском вокзале.

Носильщик повез в тележке клетку с черным пуделем, стриженным под Людовика XIV, и чемодан, в котором хранилась капитанская пелерина на белой подкладке из сатина-либерти и сияющий цилиндр.

В тот же день художественный совет смотрел собаку на репетиции.

Неустрашимый капитан часто снимал цилиндр и кланялся. Он задавал Брунгильде вопросы.

— Вифиль? — спрашивал он.

— Таузенд, — неустрашимо отвечала собака.

Капитан гладили пуделя по черной каракулевой шерсти и одобритительно вздыхал: «О моя добрая собака!»

Потом собака с большими перерывами произнесла слова: абер, унзер и брудер. Затем она повалилась боком на песок, долго думала и наконец сказала:

— Их штербе.

Необходимо заметить, что в этом месте обычно раздавались аплодисменты. Собака к ним привыкла и вместе с хозяином отвешивала поклоны. Но художественный совет сурово молчал.

И капитан Мазуччио, беспокоясь оглянувшись, приступил к последнему, самому ответственному номеру программы. Он взял в

руки скрипку. Брунгильда присела на задние лапы и, выдержав несколько тактов, трусливо, громко и невнятно запела:

— Их бин фон копф бис фусс ауф либе ангештльт...

— Что, что их бин? — спросил председатель худсовета.

— Их бин фон копф бис фусс, — пробормотал коммерческий директор.

— Переведите.

— С головы до ног я создан для любви.

— Для любви? — переспросил председатель, бледнея. — Такой собаке надо дать по рукам. Этот номер не может быть допущен.

Тут пришла очередь бледнеть коммерческому директору.

— Почему? За что же по рукам? Знаменитая говорящая собака в своем репертуаре. Европейский успех. Что тут плохого!

— Плохо то, что именно в своем репертуаре, в архибуржуазном, мещанском, лишенном воспитательного значения.

— Да, но мы уже затратили валюту. И потом эта собака со своим Бокаччио живет в «Метрополе» и жрет кавьяр. Капитан говорит, что без икры она не может играть. Это государству тоже стоит денег.

— Одним словом, — раздельно сказал председатель, — в таком виде номер пройти не может. Собаке нужно дать наш, созвучный, куда-то зовущий репертуар, а не этот... демобилизующий. Вы только вдумайтесь! «Их штербе». «Их либе». Да ведь это же проблема любви и смерти! Искусство для искусства! Гуманизм! Перевальский рецедив. Отсюда один шаг до некритического освоения наследия классиков. Нет, нет, номер нужно коренным образом переработать.

— Я как коммерческий директор, — грустно молвил коммерческий директор, — идеологии не касаюсь. Но скажу вам как старый идейный работник на фронте циркового искусства: не режьте курицу, которая несет золотые яйца.

Но предложение о написании для собаки нового репертуара уже голосовалось. Единогласно решили заказать таковой репертуар местной сквозной бригаде малых форм в составе Усышкина-Вертера и трех его братьев: Усышкина-Вагранки, Усышкина-Овича и Усышкина-деда Мурзилки.

Ничего не понявшего капитана увели в «Метрополь» и предложили покуда отдохнуть.

Шестая сквозная несколько не удивилась предложению сделать репертуар для собаки. Братья в такт закивали головами и даже не переглянулись. При этом вид у них был такой, будто они всю жизнь писали для собак, кошек или дрессированных прусаков. Вообще они закалились в литературных боях и умели писать с цирковой идеологией — самой строгой, самой пуританской.

Трудолюбивый род Усышкиных, не медля, уселся за работу.

— Может быть, используем то, что мы писали для женщины-паука? — предложил дед Мурзилка. — Был такой саратовский аттракцион, который нужно было оформить в плане политизации цирка. Помните? Женщина-паук олицетворяла финансовый капитал, проникающий в колонии и доминионы. Хороший был номер.

— Нет, вы же слышали. Они не хотят голого смехачества. Собаку нужно разрешать в плане героики сегодняшнего дня! — возразил Ович. — Во-первых, нужно писать в стихах.

— А она может стихами?

— Какое нам дело! Пусть перестроится. У нее для этого есть целая неделя.

— Обязательно в стихах. Куплеты, значит, героические — про блюминги или эти... как они называются... банкаброши. А рефрен можно полегче, специально для собаки с юмористическим уклоном. Например... сейчас... сейчас... та-ра, та-ра, та-ра... Ага... Вот:

Побольше штреков, шахт и лав.

Гав-гав,

Гав-гав,

Гав-гав.

— Ты дурак, бука! — закричал Вертер. — Так тебе худсовет и позволит, чтоб собака говорила «гав-гав». Они против этого. За собакой нельзя забывать живого человека!

— Надо переделать... Ту-ру, ту-ру, ту-ру... Так. Готово:

Побольше штреков, шахт и лав.

Ура! Да здравствует Моснав!

— А это не мелко для собаки?

— Глупое замечание. Моснав — это общество спасения на водах. Там, где мелко, они не спасают.

— Давайте вообще бросим стихи. Стихи всегда толкают на ошибки, на вульгаризаторство. Стесняют размер, метр. Только хочешь высказать правильную критическую мысль, мешает цензура или рифмы нет.

— Может, дать собаке разговорный жанр? Монолог? Фельетон?

— Не стоит. В этом тоже таятся опасности. Того не отразишь, этого не отобразишь. Надо все иначе.

Репертуар для говорящей собаки Брунгильды был доставлен в усвоенный срок.

Под сумеречным куполом цирка собрались все — и худсовет в полном составе, и несколько опухший Мазуччио, что надо приписать неумеренному употреблению кавьяра, и размагнитившаяся от безделья Брунгильда.

Читку вел Вертер. Он же давал объяснения:

— Шпрехштальмейстер объявляет выход говорящей собаки. Выносят маленький стол, накрытый сукном. На столе графин и коло-

кольчик. Появляется Брунгильда. Конечно, все эти буржуазные штуки — бубенчики, бантики и локоны — долой. Скромная толстовка и брезентовый портфель. Костюм рядового общественного. И Брунгильда читает небольшой, двенадцать страниц на машинке, творческий документ.

И Вертер уже открыл розовую пасть, чтобы огласить речь Брунгильды, как вдруг капитан Мазуччио сделал шаг вперед.

— Вифиль? — спросил он. — Сколько страниц?

— На машинке двенадцать, — ответил дед Мурзилка.

— Абер, — сказал капитан, — их штербе: я умираю. Ведь это все-таки собака. Так сказать, хунд. Она не может двенадцать страниц на машинке. Я буду жаловаться.

— Это что же, вроде как бы самокритика получается? — усмехнувшись, спросил председатель. — Нет, теперь я ясно вижу, что этой собаке нужно дать по рукам. И крепко дать.

— Брудер, — умоляюще сказал Мазуччио, — это еще юная хунд. Она еще не все знает. Она хочет. Но она не может.

— Некогда, некогда, — молвил председатель, — обойдемся без собаки. Будет одним номером меньше. Воленс-неволенс, а я вас уволенс.

Здесь побледнел даже неустрашимый капитан. Он подозвал Брунгильду и вышел из цирка, размахивая руками и бормоча: «Это все-таки хунд. Она не может все сразу».

Следы говорящей собаки потерялись.

Одни утверждают, что собака опустилась, разунилась говорить свои унзер, брудер и абер, что она превратилась в обыкновенную дворнягу и что теперь ее зовут Полкан.

Но это нытики-одиночки, комнатные скептики.

Другие говорят иное. Они заявляют, что сведения у них самые свежие, что Брунгильда здорова, выступает и имеет успех. Говорят даже, что, кроме старых слов, она освоила несколько новых. Конечно, это не двенадцать страниц на машинке, но все-таки кое-что.

НА ЗЕЛЕННОЙ САДОВОЙ СКАМЕЙКЕ

На бульваре сидели бывшие попугайчики, союзники и враги, а ныне писатели, стоящие на советской платформе. Курили, болтали, рассматривали прохожих, по секрету друг от друга записывали метафоры.

— Сельвинский теперь друг ламутского народа.

— А я что, враг? Честное слово, обидно. Затирают.

— Тогда напишите письмо в «Литгазету», что вы тоже друг. Так сказать, кунак ламутского народа.

— И напишу.

— Бросьте, Флобер не придавал бы этому никакого значения.

— Товарищ, есть вещь, которая меня злит. Это литературная обойма.

— Что, что?

— Ну, знаете, как револьверная обойма. Входит семь патронов — и больше ни одного не впишете. Так и в критических обзорах. Есть несколько фамилий, всегда они стоят в скобках и всегда вместе. Ленинградская обойма — это Тихонов, Слонимский, Федин, Либединский, Московская — Леонов, Шагинян, Панферов, Фадеев.

Комплектное оборудование критического цеха.

— Толстой, Бабель, Пришвин никогда не входят в обойму. И вообще вся остальная советская литература обозначается значком «и др.»

Плохая штука «и др.» Об этих «и др.» никогда не пишут.

— До чего же хочется в обойму! Вы себе и представить не можете!

— Стыдитесь. Стендаль не придавал бы этому никакого значения.

— Послал я с Кавказа в редакцию очерк. И получаю по телеграфу ответ: «Очерк корзине». Что бы это могло значить? До сих пор не могу понять.

— Отстаньте. Бальзак не придавал бы этому никакого значения.

— Хорошо было Бальзаку. Он, наверное, не получал таких загадочных телеграмм.

— Можно рассказать одну историю?

— Новелла?

— Эпопея. Два человека перевели на венгерский язык повесть Новикова-Прибоя «Подводники». Повесть очень известная, издава-

лась множество раз. Свой перевод они предложили венгерской секции Издательства иностранных рабочих в СССР. Через некоторое время повесть им с негодованием возвратили, сопроводив ее жизнерадостной рецензией. Я оглашу этот документ.

— Оглашайте!

— Вот что написали о книге уважаемого Алексея Силыча: «Обывательское сочинительство с любовью и подводными приключениями без какого-либо классового содержания. Ни слова не сказано о движении, которое превратило империалистическую войну в гражданскую, и это сделано двумя русскими писателями».

— Почему двумя?

— Не перебивайте. Дайте дочитать «...двумя русскими писателями. Не только слепота, но преступно намеренная слепота. Матросы Новикова и Прибоя...»

— Что за чушь!

— Слушайте, слушайте!

«...Матросы Новикова и Прибоя бессознательно идут на войну...» Ну, дальше чистая материнская ласка: «...все это теряется в тошнотворном запахе каналов лирики... Матросы не знают марксизма-ленинизма. Этот роман из-за своего содержания даже не достоин обсуждения».

— Кто это написал?

— Чья чугунная лапа?

— Фамилию!

— Автора рецензии зовут Шарло Шандор.

— Надо сообщить в МОРП.

— Да не в МОРП, а в МУР надо сообщить. Это уже невежество со взломом.

— А мне кажется, что Свифт не придал бы этому никакого значения.

— Ну, вы не знаете Свифта. Свифт снял бы парик, засучил бы рукава коверкотового камзола и разбил бы в этом издательстве все чернильницы. Уж я знаю Свифта. Он хулиганов не любил.

— Братья, меня раздражают противоречия великой стройки.

— Десятый год они тебя уже раздражают. И ничего, потолстел. Стал похож на председателя велосипедно-атлетического общества.

— А все-таки они меня раздражают, и я этим горжусь. Тя-я-я-жко мне! Подымите мне веки! Нет, нет, не подымайте! Или лучше подымите. Я хочу видеть новый мир. Или нет, не подымайте! Тя-я-я...

— В-самом деле, человек как будто страдает.

— Да нет. Просто выпал из обоймы и очень хочется обратно. А в обойме уже лежит другой писатель, гладенький, полированный в новом галстуке.

— Скажите, о чем автор думает в ночь перед премьерой своей первой пьесы?

— О славе, которая его ожидает.

— О кладбищенских венках, которые вдруг могут поднести не тактичные родственники.

— А может быть, он думает о позоре, о кашляющем зале, о непроницаемых лицах знакомых.

— Вернее всего, думается ему о том, как он, потный, трусливый и неопытный, выйдет на сцену, чтоб раскланиваться с публикой. И лицо у него будет, как у нищего. И всем будет за него совестно, и какая-нибудь девушка в зрительном зале даже заплачет от жалости.

— То ли дело вторая или третья пьеса. Выходишь напудренный, томный Вертинский, кланяешься одной головой. А на премьере первой пьесы сгибаешь все туловище.

— Мольер не придавал этому никакого значения.

— Читал я дневник Софьи Андреевны Толстой.

— Только не рассказывайте содержания. Все читали.

— Нет, я к тому, что моя жена тоже... вроде Софьи Андреевны... описывает мою жизнь.

— Воображаю, какие там интересные подробности. «Сегодня мой Левочка очень сердился на вегетарьянский завтрак, требовал мяса. До самого обеда ничего не писал. В обед съел много мяса. Катался в трамвае, чтобы освежиться. Не писал уже до вечера. Потом приходили люди из провинции, спрашивали, в чем цель жизни. Сказал, что не знает. Ужинал с аппетитом». Вот и вся ваша жизнь, как на блюдечке.

— Что это за шутки? Что за интеллигентский нигилизм!

— Бросьте. Фукидид не обратил бы на это никакого внимания.

— Дид Фукидид, он же запорожец за Дунаем.

— Шпильгаген не сказал бы такой глупости.

— Ну, не знаете вы Шпильгагена.

МЕТРОПОЛИТЕНОВЫ ПРЕДКИ

Недавно в Московскую психиатрическую больницу доставили нового клиента. Клиент был не то чтоб очень буйный, но какой-то отчаянный и нахальный.

Он все время лез куда-то вперед, толкал врачей животом и грудью, наступал санитарам на ноги и отвратительным голосом выкрикивал:

— Сходите? Сходите? А впереди сходят? А та старушка у двери тоже сходит? Вы что, офонарели, гражданка? Вас спрашивают!

Доктора успокаивали больного, пытались взять его за руку, но он не давался.

— Что же вы не сходите? — визжал он. — Тоже, стоит как столб! Сходят там на Арбате?

— Сходят, сходят, — говорил хитрый доктор.

— Все сходят? — подозрительно спрашивал странный больной.

— Все, все, — убеждал доктор.

— А там впереди? Вон та старушка сходит?

— Сходит, сходит, уверяю вас.

И тем не менее новый больной вдруг багровел, со страшной силой толкал доктора в зад коленом и раздражающим голосом орал:

— Пройдите в вагон, там впереди совсем свободно!

Это был ужасный человек. Его ненавидели больные. Они даже собирались его убить. Шизофреники, шизоиды и кроткие маньяки жаловались на его главному врачу. Они утверждали, что еще никогда в сумасшедшем доме не было такого беспорядка, какой внес туда новоприбывший псих.

Научная мысль была обеспокоена. Болезнь нового клиента нельзя было подвести ни под одно известное определение. Это не был бред величия. Не было здесь и бреда преследования. Больного, конечно, нельзя было назвать тихим идиотом. Не могло быть и речи о черной меланхолии. Куда там! Какая там меланхолия!

Долго совещались психиатры и наконец установили симптомы нового помешательства. Диагностика обогатилась новым названием — «трамвайный бред».

Не у всех пациентов болезнь протекала одинаково. Особенно тяжелой формой отличался бред, подхваченный на трамвайной ли-

нии № 34. Немножко легче было с пациентами, заболевшими на линии «А». Больные же, доставленные с линии «Б», страдали затяжной, почти хронической формой помешательства.

Профессором Н. Д. Гусевым-Лебедевым в 1933 году нашей эры был открыт также «автобусный бред». Но это сравнительно легкая болезнь, почти детская, она была вроде свинки, излечивалась в какие-нибудь две недели. В то время, как трамвайные сумасшедшие всегда были возбуждены и оскорбляли врачебный персонал, автобусники были люди вежливые и ласковые. Они обращались к няням, сестрам и докторам с однообразной просьбой.

— Ну, пустите меня, я очень спешу, я опаздываю на службу, там же только девять человек стоят в проходе, а можно стоять не выше десяти человек. Ну, я вас прошу.

Иногда они становились на колени и плакали.

Лечили их хорошим обращением по способу того же Н. Д. Гусева-Лебедева и на их слезные мольбы отвечали:

— Пожалуйста, душечка, войдите в автобус. Садитесь, милейший гражданин, на это дерматиновое креслице. Здесь вам будет удобно. Ах, у вас только крупная купюра? Три рубля? Ну, конечно, дадим вам сдачи, не выгоним из автобуса.

На третий день у больного высыхали слезы, на пятый — появлялся аппетит, а на десятый день он выздоравливал. Из больницы его выпускали со строгим наставлением: во избежание рецидива болезни ходить только пешком.

Но с трамвайными сумасшедшими было очень тяжело. Автобусный метод ласки и исполнения желаний тут не помогал.

После работы в больнице Н. Д. Гусев-Лебедев приходил домой в ужасном виде — у него были оторваны пуговицы, поцарапаны щеки, отдавлены пальцы на ногах. Это сделали его новые друзья — трамвайные больные.

Но в конце концов и здесь психиатрия одержала новую победу.

Талантливый Гусев-Лебедев нашел способ лечения новой мании...

Однажды во время обхода палаты, когда на него по обыкновению стали кидаться трамвайные психи, когда со всех сторон ему кричали: «Сходите? Впереди сходят? А тот гражданин сходит?», — доктор внезапно затопал ногами и стал кричать:

— Сам дурак! А еще очки надел, интеллигент собачий! А ты что зубы скалишь? Шляпку надела!

Больные от неожиданности замолчали.

— В такси бы ездили, — продолжал кричать гениальный психиатр. — Я тебе покажу плакаться! В отделении давно не был?

Больные беспорядочно отступали. Новый метод лечения возымел ошеломляющий успех. Страшные трамвайные маньяки

становились кроткими, как цуцки, и умоляли выписать их из больницы, обещая впредь вести себя примерно.

Но стоило выписавшемуся из больницы один раз повиснуть на трамвайной подножке, как снова в его больную душу вселялись дьяволы и бесы городского транспорта. И снова его, хохочущего и задыхающегося, тащили в психиатричку.

Таким образом лечение по методу Гусева-Лебедева все-таки оказалось паллиативом.

К счастью, известно действительно радикальное средство, которое вконец уничтожит трамвайные болезни, автобусные недуги и душевные раны, нанесенные чутким пассажирам бессердечными извозчиками.

Как только гудящие поезда метро побегут по светлым тоннелям, воспоминания о горестях передвижения по Москве начнут отодвигаться, бледнеть и скоро совсем исчезнут из памяти людей.

Надо торопиться. Скорей, скорей, надо все записать, иначе мы сами через год или два забудем, как мы безнадежно толпились на трамвайных остановках, как нам сурово кричали: «Вагон только до центра!» — как мы висели не только на подножках, но даже на каких-то металлических скобках, держась одереvenевшими пальцами за шнурочки от пенсне соседа, как мы слезно молили автобусных кондукторов, как сухо отвергались наши молебны, как странно и нелепо, по несколько раз в день, переносились трамвайные остановки, как обижали нас шоферы такси, как грабили нас злые извозчики, — все, все надо вспомнить в чудесный день открытия метрополитена.

Громадную книгу можно было бы написать обо всем этом, чудную книгу с торжественным эпиграфом:

«Вы, живущие в бесклассовом обществе, вспомните о нас, блуждавших по узеньким улочкам, разбиравших ноги о булыжники, ездивших в раскачивающихся и вонючих трамвайных вагонах, вспомните о нас, потому что мы этого заслужили».

Такая книга будет полна трогательных и смешных историй, происшествий и случаев, это будет рассказ о том, как Москва очищала себя от грязи, накопившейся со времен царя Салтана, Бориса Годунова и даже Евгения Онегина. Помните, глава седьмая, стр. 265, третья строка сверху: «...Вот уж по Тверской возок несется чрез ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачужки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины, моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах».

Дворцы и бульвары мы оставляем, сеть аптек увеличиваем, купцы, казаки и ухабы — дело прошлое, а с модой не только перестали

бороться, а понемногу вводим ее в обиход. Лачужкам пришел последний час, что же касается галок, то этот вопрос действительно встал во всей своей остроте. Галкам не на чем сидеть, придется им, кажется, за отсутствием крестов устраиваться на шариках и вазах новой гостиницы Моссовета.

Итак, воспоминания, переживания, ряд, так сказать, психологических этюдов, жизнь московского пешехода и пассажира дометрополитеновской эры...

Пешеход идет по кривой улочке. Пахнет гарью. Заметили ли вы, что в Москве всегда пахнет чем-то горелым? Иногда начинается пожар в урне для окурков, и оттуда валит густой серый дым, иногда дым бьет из окон учрежденской столовой, наспех оборудованной в полуподвале или под лестницей. А иногда пахнет гарью неизвестно почему: не запах ли это наполеоновского пожара, сохранившийся еще с 1812 года в заплатах дворянских домиков или в толсто-стенных купеческих лабазах?

По тротуарам и мостовым, в самых различных направлениях, вправо, влево, вперед, назад, вкривь и вкось, налетая друг на друга, бегут люди. Впечатление такое, будто беспрерывно ловят вора. И только присмотревшись, замечаешь, что никто никого не ловит, а все заняты своими делами. Один бежит, увидев приближающийся к остановке вагон трамвая, второй скачет к киоску «Союзпечать», торопясь ухватить газету, третий спасается бегством от стремглав проносящегося по улице грузовика, четвертый выскакивает из распределителя, держа высоко над головой свежего судача с помертвевшими жестяными глазами, пятый убегает от милиционера, который гонится за ним, чтобы взять штраф за неправильный переход улицы, а шестой бежит, и сам не зная почему, бежит, потому что все бегут. Мальчики и домохозяйки тоже бегут. Такова уж их природа. И одни лишь черноусые айсо-ры, члены коллектива чистильщиков обуви под названием «Трудассириец», с восточным спокойствием сидят у своих шкафиков, увешанных резиновыми каблуками, стельками и шнурками для ботинок.

В общем, на улице происходит то, что официально называется «часы пик». Великое множество людей, и всем надо немедленно куда-то ехать.

Жизнь не такая простая штука, и надо быть готовым ко всему. Перед тем как выйти на улицу, московский житель принимает меры предосторожности.

Пуговицы пальто пришивает сапожной дратвой, предварительно натертой канифолью. Так будет крепче.

В калоши набивается бумага. Они должны так плотно держаться на ногах, чтобы в минуту решительной схватки на подножке трамвая их не могла сорвать никакая сила. В крайнем случае, пусть оторвут вместе с ногами.

Шапки надвигаются на брови. Теперь уши пассажира легкомысленно торчат в разные стороны. Это некрасиво, но зато шапка туго сидит на голове. На худой конец, пусть лучше оторвут уши.

И вот он идет по улице, то есть не идет, а бежит. Ветер свищет в его оттопыренных ушах. Пуговицы и калоши блистают на солнце.

Зажмурив глаза и невольно шепча себе под нос «Давай, давай», он прыгает в вагон. Первые полкилометра он висит на подножке, крепясь и раскачиваясь на поворотах. Сердце холодеет, когда смотришь со стороны на этого пожилого человека. Но ему не страшно. Поглощенный желанием пробраться внутрь, он презирает опасности.

Внутри вагона тесно. Ну, понимаете, тесно. Тесно, потомки. Почему так беден русский язык? Пятьдесят человек в вагоне, сто человек, триста человек — определение одно — тесно. Разве это слово годится, когда в вагоне двести пятьдесят один пассажир, девять милиционеров, семь матерей с детьми и четыре инвалида? Есть еще, правда, метафоры. Разные там «как сельди в бочке», «яблоку негде упасть». Но и это, товарищи, не похоже, слабо, бледно. Нет, изящная словесность пасует перед таким фактом, как электрический трамвай. Там какая-то особая, высшая теснота, образующаяся наперекор физическим законам. Мы не умеем рассказать, как там тесно. Хотели это сделать, но вот не вышло, не хватило таланта. Пусть будущий историк литературы обвинит нас. Да, не хватило изобразительных средств для описания трамвайной тесноты в допетрополитеновскую эпоху.

Значит, триста человек в принудительных объятиях друг у друга едут по своим делам. Конечно, идет обмен резкими репликами, раздаются крики с мест, слышатся стоны, кряхтенья и, наконец, голос доведенного до отчаяния кондуктора, который вдруг заговорил стихами: «Двиньтесь, граждане, вперед, станьте между лавочек».

Просим вспомнить трамвайного кондуктора. Вспомните, что мимо него за день работы проносилась лавина в двадцать тысяч человек и что каждый из этих двадцати тысяч награждал его толчками или раздражительными словечками. И если кондукторы не были ангелами, то вспомните, пожалуйста, что и пассажиры оставляли свои крылья дома.

Нет, грубость в трамвае не удивительна. Скорей даже естественна. Удивительно то, что в этой сердитой каше, где перемешались руки, гривенники, ноги, бидоны, животы, корзинки и голо-

вы, очень многие молодые люди читают книги. И эти книги называются не «Картуш, атаман разбойников» и не «Дневник горничной», а это «Органическая химия» или «История партии». Либо сидит в самом углу зажатый донельзя старичок и читает книгу, состоящую из одних только цифр. И такая, видно, удивительная гармония заключена в этих таблицах, что старичок иногда улыбается или даже легко и радостно вскрикивает. И уж, конечно, он не замечает, что давно ему оторвали карман драпового пальтишона и что на коленях у него сидит трубочист с лопаткой перышком и с черным ядром на цепи.

Но вот наконец пассажир сходит на землю.

Первое мгновение он растерянно озирается, потом делает глубокий вздох и начинает себя ощупывать. Экстренные мероприятия, проведенные перед выходом из дому, оправдали себя полностью. Пуговицы на месте, калоши на месте, уцелела и шапка. Но зато погибли очки (их сорвало и унесло трамвайным течением), болит колено (очевидно, трубочист зацепил лопатой), а грудь залита молоком.

Ну что ж, завтра пассажир учтет и это. Прикует очки к ушам собачьей цепочкой, наденет под брюки футбольные щитки и выйдет на улицу с клетчатой слюнявкой под бородой. Да, слюнявка — это очень некрасиво, но как иначе уберечь пальто от молока?

И он с надеждой смотрит на заборы и вышки метростроя.

Выброшенная из тоннелей порода течет по конвейерам и сыплется в грузовики. Ловко и быстро работают метростроевские в бертках и брезентовых штанах и резиновых сапогах.

Московский житель смотрит в витрины и видит там красиво иллюстрированные проекты подземных станций, вестибюлей, видит разрезы тоннелей и выглядывающие оттуда вагоны приятной обтекаемой формы.

Он раскрывает газету и сразу же ищет заметки и статьи о метро. Он в курсе всех дел, знает, где изготавливают эскалаторы, кто строит вагоны, какой архитектор оформляет станцию «Красные ворота», какая шахта впереди и какая отстает, со вкусом говорит о плывунах, о проходке щитами и о необходимости строить вторую очередь метро исключительно закрытым способом. Ему так хочется поскорее спуститься под землю, что он часто подходит к заборам шахт и смотрит в щелку.

Оторвавшись от этого увлекательного занятия, он видит, как из еще не тронутного, девственного старомосковского переулочка выезжает извозчик, мрачное видение прошлого.

Уже через год или два обитатель столицы будет глядеть на извозчика примерно с таким же удивлением, с каким львы, антилопы, носороги и страусы, стоя в очереди к водопою, заметили бы

подлетающего к ним доисторического птеродактиля, унылую и страшную птицу с огромным количеством старомодных перышек из потрескавшейся не то кожи, не то клеенки, с давно нечищенным хвостом, птицу древнюю да к тому же, кажется, еще и пьяную.

Товарищи, необходимо описать извозчика. Ведь исчезнет, ведь уже их почти нет.

Казалось, царству извозчика не будет конца.

Их было множество — лихачи на дутиках, просто лихачи, ваньки приличные и ваньки совершенно невозможные, дневные извозчики и извозчики ночные.

Лихачи установили по отношению к седокам тон издевательской сверхпочтительности. Даже в советское время они титуловали седоков.

Лучшим седоком считался пьяный. Лихачи заманивали его радостными криками: «Ваше сиятельство, ваше сиятельство». Им было все равно. Они могли назвать своего клиента даже «ваше императорское величество».

Седоков похуже, то есть трезвых, но в порядочной одежде и с покупками называли «ваше благородие». Если же человек носил маленькую полуответственную бородку, то ему давался новый чин: «Пожалуйста, ваше преосвященство».

Кстати, наиболее жизнерадостные из лихачей никогда не говорили «пожалуйста», они выражались более кратко и энергично: «Пожа, пожа. Я вас катаю».

А если наивный и неопытный, только что прибывший в Москву рабфаковец с фанерным чемоданчиком в руках по ошибке подступал к роскошным дутикам, лихач совсем без воодушевления вскрикивал: «Пожалуйста, ваше здоровье. Прокачу на резвой. Восемь рублейков».

И рабфаковец, содержащий себя на двенадцатирублевую пенсию, в страхе падал на свой скромный чемоданчик.

Особенно же румяны и толстозадые бывали лихачи зимой. Они ристали на площадях, описывая круги, чтобы показать горячность своих рысаков, чтобы зеленая сетка, наброшенная на лошадь, затрепетала перед глазами пожилого пешехода, чтобы никакой силы не было отказать от поездки на крошечных санках в Петровский парк, в особенности если рядом шагает какое-то такое существо диаметрально противоположного тебе пола.

И вот уже они выносятся на прямую линию шоссе, бешено стучит о задок саней медвежья голова теплой и жестковатой полости, и резвая лошадка раскидывает копытами молодой снег, под которым лежит асфальт так называемого показательного километра.

Еще несколько лет назад Москва гордилась одним лишь километром усовершенствованной мостовой. На этот километр люди

специально ездили кататься, фотографии этого километра печатались в газетах, и кинооператоры снимали в этом месте урбанистические кадры из американской жизни.

Сейчас, когда все московские магистрали, кольца, набережные и множество переулков покрыты асфальтом, эта любовь к показательному километру кажется наивной и трогательной. Но в те времена, когда волнуемое булыжное море заливало громадный город, на этот километр приходили помечтать о том, какой будет Москва через пять, десять лет, никак не ожидая того, что чудесная дорожная метаморфоза займет всего лишь одно пятилетие. А когда на бурных булыжных волнах качались утлые экипажи ванек, извозчики вели тревожную жизнь. Они всего боялись: начальства, автомобилей, придиричивого седока, жуликоватых господ, уходящих через проходной двор, не заплатив денег.

Под влиянием всех этих опасностей ваньки часто плакали. Всегда можно было увидеть старого бородатого ваньку, который, путаясь в своей тяжелой синей юбке, с кнутом в руках, шел куда-то требовать заработанные деньги.

Ванька и на облучке производил невыгодное впечатление, поодаль же от своей вещи каурки облик его, если вспомнить сейчас, представляется совсем уж нелепым и ненатуральным.

Зимой и летом он ездил в одном и том же армяке с высочайше утвержденными сборками назади. Над козлами возвышался его важный зад, похожий на очищенный мандарин. Свою лошадку ванька путем долголетних упражнений самым подлым образом приучил к особому аллюру, имеющему все внешние признаки рыси, но не превышающему скорости обыкновенного шага. Двигаясь таким образом, ванька симулировал бешеную езду: чмокал губами, подсвистывал, размахивал кнутом и даже привставал на козлах. Со стороны же нервного седока, торопящегося к поезду, ванька обезопасил себя толстым слоем ваты на спине. Для него были нечувствительны даже удары палкой.

Торгуясь с седоком, ванька держался так, будто дело шло не о том, чтоб съездить с Варварки в Харитоньевский переулок или с Кривоколенного в Кривоарбатский, а так, словно ему предстояло положить голову на плаху. Тон его всегда был жалостно бесшабашный. В его речи было много всяких «эх-ма», «что-жа», «ехать оно, конечно, можно», одним словом, пропадать, так пропадать, двум смертям не бывать, а одной не миновать и так далее в том же плаксивом роде.

Торгу с седоком ванька посвящал большую часть своих сил. Когда же все бывало переговорено и улажено, когда седок уже терпеливо выслушал от возницы обычные пошлости о вздорожании овса, сена, соломы и половы и с проклятиями усаживается в грязный, оборванный и кривой экипаж, ванька издавал

длинный поцелуйный звук и сразу же сворачивал в первый переулоч направо.

Куда бы ни указано было ему ехать, каков бы ни был маршрут, ваньки всегда сворачивали в первый переулоч направо. У них была своя география города. Они любили переулки и опасались магистралей. На магистралях милиция, трамваи, автомобили и тому подобные новшества. А в кривоарбатских и в кривоколенных тихо, спокойно, растет трава на мостовой, там хитрый извозчикий аллюр кажется естественным, и там самый злой, нетерпеливый ездок чувствует свою беспомощность, закрывает глаза и вручает ваньке свою судьбу.

Вечером ванька пьет чай на заезжем дворе — в трактире. На нем тот же армяк, хотя из тридцатиградусного мороза ванька непосредственно попал в тридцатиградусную жару. В трактире пахнет навозом, валенками, потом и сеном. Трактир называется «Париж».

Но вот под давлением времени и обстоятельств рушилась великая держава извозчиков. Сейчас в Москве их почти нет, а те, которые остались, основанием своей профессии положили несчастье человека.

Они выжидают момента, когда с человеком стряется какая-нибудь беда и он не сможет обойтись без извозчика: больного надо срочно свезти в больницу, а такси под рукой нет и не предвидится, либо приезжий остался на пустынной вокзальной площади с громадным багажом на руках.

Тут извозчик мстит за все: за трамвай, за автобус, за такси, за строящийся метрополитен. На Сивцев Вражек — пятиалтынный, к вокзалу — четвертачок, в больницу — три гривенника. Три гривенника — это значит тридцать рублей. Соответственно этому можно расшифровать стоимость пятиалтынного и четвертака.

И увозимый соловьем-извозчиком в первый переулоч направо, московский житель снова бросает нежные взгляды на заборы и вышки метрополитена.

Да, чуть не вылетело из памяти. Ведь в Москве совсем еще недавно, году еще в двадцать восьмом, была очень странная на теперешний взгляд отрасль местного транспорта, так называемый «частный прокат».

Это были машины старинных марок — «бенцы», «минервы», «пино», древние «мерседесы», а также механические экипажи, давно утеравшие свой первоначальный облик, смонтированные черт знает из чего, с высокими сиденьями и байковыми занавесками. Пре-

имущественно это были закрытые машины, ибо цели, для которых они предназначались, требовали некоторой тайны. Вдоль борта они несли на себе широкую желтую полосу, и по этому отличительному знаку население называло их «желтополосыми».

Как правило, счетчиков они не имели. Цена устанавливалась смотря по пассажиру и по обстоятельствам. И если во время торгов с ванькой постоянно упоминалась цена на традиционный овес, то «желтополосый» упирал главным образом на стеснения, чинимые частной инициативе безжалостными агентами.

Иногда, впрочем, «желтополосый» приколачивал гвоздями к своей машине большой ободранный таксометр, выисканный где-то на Сухаревке. Этот прибор употреблялся «желтополосыми», как видно, исключительно из эстетических соображений, потому что его работа в корне меняла представление об основах арифметики.

Как только машина трогалась, счетчик начинал громко и хрипло стучать, и сразу же выскакивала цифра «84», чтобы сейчас же исчезнуть и дать место цифре 13. После этого внутри счетчика что-то всхлипывало, стук усиливался, и в окошечке медленно появлялась леденящая душу сумма 48 р. 12 коп. Но не успевал пассажир ахнуть и схватиться за сердце, как из счетчика слышался металлический стон и выплывала новая, чрезвычайно скромная на этот раз цифра — 8 коп. После этого пассажир махал рукой и отдавался во власть судьбы. Но бывали случаи, когда пассажиры выходили из такси совершенно седыми.

«Желтополосые» стояли на Страстной площади. На каждую машину приходилось два-три хозяина. Они не доверяли друг другу и ездили все вместе, тесно усевшись возле руля. Установка всей компании была, конечно, не на обычного пассажира. Им нужен был седок, обуреваемый, так сказать, низменными страстями.

День у «желтополосых» проходил безрадостно. При дневном свете они не извлекали особенных прибылей, зато вечером появлялся настоящий пассажир.

Его можно было узнать издали. Он двигался неровным шагом от ресторана...

Теперь он был полностью готов для поездки, теперь ему до зарезу нужна была машина.

Троица автомобилевладельцев с треском заводила мотор и усаживалась за руль, опускались байковые занавески с бомбошками, и грохочущий «бенц» медленно совершал свой обычный рейс на Ленинградское шоссе и обратно, на ту же Страстную, где душераздирающе кричали и пели пьяные, деловито разгуливали проститутки, где кого-то вели в милицию и этот кто-то на всю улицу верещал: «Что ты мне рюки крутишь?»

Все это надо было вспомнить для того, чтобы яснее понять, какая одержана победа, как удивительно изменилась и похорошела Москва.

Постройка метрополитена могла вначале показаться лишь созданием для Москвы нового вида транспорта. На самом деле она превратилась в целую метрополитеновскую эру. Ее великое содержание не только в том, что прорыты великолепные тоннели под землей, прорублены новые проспекты, возведены и возводятся монументальные здания на земле, а еще и в том, что вместе с бульжной мостовой исчезает и человеческий бульжник. Вместе с городом совершенствуются и люди, которые в нем живут.

И это замечательное превращение есть самое главное, что заложено во всякой советской стройке.

Евгений Петров

ГРЕХИ ПРОШЛОГО

Захлопнув книгу авантюрного романа, двадцатилетний юноша Василий Заец вышел на улицу.

Темная ночь сулила Василию Заecu уйму ощущений, денег и славы. План был такой: ограбить богатого банкира, потом вскочить в автомобиль и, удрав от бешеной погони, заняться похищением любимой девушки Нюрки Брызжейко. Дальнейшее представлялось энергичному юноше менее отчетливо. С одной стороны, прельщала возможность, тайно обвенчавшись с Нюркой, увезти ее от родительского гнева на Соломоновы Острова и зажечь тихой жизнью плантатора, тщательно скрывающего «грехи прошлого». С другой стороны, представлялась заманчивая перспектива окончить жизнь на электрическом стуле.

Василий лег животом на пыльный тротуар и прополз, как змея, несколько ярдов. Добравшись до угла, юноша оглянулся по сторонам и тихо свистнул. Раздался ответный свист. Тень Васильева сообщника Витьки Зловунова отделилась от серой стены и скользнула навстречу Василию.

— Гав ду-ду, — приветствовал Витька своего патрона, — есть новости, капитан.

— Говори, Стенли, я слушаю.

— Я весь день следил за банкиром.

— Ну?

— Он держит наличность дома.

— Оль-райт. Старый сатир не уйдет от карающей руки Реджинальда Смита. Ха-ха-ха... Револьверы в порядке?

— В порядке, капитан. Добрая пинта машинного масла предохранит их от нежелательных осечек.

— Оль-райт. Мы славно поработаем этой ночью, милый Стенли... Передал записку моей маленькой Веронике?

— Передал, капитан, Нюрк... Маленькая Вероника будет ждать в своей комнате в час ночи.

— Оль-райт. А старый дербер-отец?

— Ничего не подозревает.

— А старуха-мать?

— Старая леди во всем доверяет своей камеристке, которую я подкупил.

— Молодец, Стенли. Ты способный парень. А теперь пойдем в таверну «Новая Бавария» и промочим глотку добрым глотком абсента. Нам предстоит нелегкая работа.

Банкир Я. М. Дантончик, хозяин трикотажного предприятия «Собственный труд», занимал на правах застройщика отдельную квартиру во дворе того же дома, где жили друзья. Перед дверью банкира злоумышленники надели сделанные из трусиков маски. Василий Заец тяжело вздохнул и постучал в банковую дверь.

— Кто там? — послышался за дверью взволнованный голос.

— Обыск, — хрипло сказал Василий.

Дверь раскрылась, и на пороге появился ликующий Я. М. Дантончик в сиреневых подштанниках.

— Пожалуйста! Входите! А я уже испугался. Думал, опять от фининспектора... Софочка! Дети! Не плачьте! Это с обыском.

— Руки вверх! — сказал Стенли.

— А-а-а, так вы налетчики? — радостно воскликнул Дантончик.

— Н-налетчики, — прошептал Стенли.

— Софочка, дети, идите сюда! Скорее! Налетчики пришли! Смотрите, смотрите, вот живые налетчики! Видите? Смотрите, Адольф, это налетчики, о которых я тебе говорил... Это мой младший сын. Он родился у меня между пятнадцатым и последним налетом, — он тогда был еще маленький... Ну, шаркни дядям ножкой! Он у меня будет скрипачом... Садитесь, пожалуйста. Софочка, дай людям печенья...

— Где деньги? — нервно спросил Василий Заец.

Дантончик с грустью посмотрел на ночных пришельцев и сделал рукою широкий гостеприимный жест.

— Вот, прошу убедиться.

Друзья оглядели комнату и с ужасом убедились в том, что вся мебель Я. М. Дантончика, начиная с письменного стола и кончая граммофоном, была снабжена красными сургучными печатями.

— Не выдержал налогов, — хихикнул хозяин, — а? Как вам это понравится?... Куда же вы?... Посидите, поболтаем...

Ночь приключений подходила к концу. Предстояло самое сложное и ответственное приключение — похищение Нюрки у деспотических родителей.

— Поспешим! — воскликнул Василий Заец, — маленькая Вероника, наверное, ждет нас с нетерпением. А до Вшивой горки не менее пяти морских узлов пути.

— Есть, капитан! — ответил верный Стенли.

Подходя к дому, в котором жила Нюрка Брызжейко, Василий сказал:

— Поклянись, Стенли, что тайна окутает похищение маленькой Вероники, и ни одна душа в мире не узнает этой тайны. Имей в виду, что в противном случае цербер-отец подошлет ко мне наемных убийц, а Веронику заточит в монастырь!

— Клянусь, капитан.

— Поклянись островом сокровищ! — придиричиво сказал Василий.

— Клянусь островом.

— То-то. Теперь идем.

У стены, через которую друзья по заранее намеченному плану должны были тайно перелезть, стояла лестница.

— Небо благоприятствует нашему плану, — воскликнул Василий Заец, — лестница подвернулась нам как нельзя более кстати.

Среди ночной мглы светилось только одно окно второго этажа.

— Она там. Где веревка?

— Ч-черт! Забыл дома!

В ту же минуту к ногам похитителей упал конец сделанной из простынь ленты.

— Какой-то неизвестный, но благородный друг содействует нашему плану, — прошептал энергичный Стенли. — За дело!

Василий схватился за простыню, неуклюже повис в воздухе и задрогал ногами.

— Вы, молодой человек, ножку мне на плечо поставьте. Ничего, что запачкаете. Я потом вытру, — раздался чей-то скрипучий голос.

Из темноты выдвинулась мрачная тень.

— Вы наш добрый гений? — спросил Стенли.

Ночной пришелец утвердительно кивнул головой. В этот момент лента оборвалась, и Василий мягко шлепнулся на землю.

— Т-с-с. Тише... — сказал незнакомец, — идемте через черный ход, а то так и голову проломить недолго. Идемте, молодой человек.

— Скоро вы там? — нетерпеливо спросил женский голос сверху.

— Сейчас приведу, Нюрочка. Держитесь за меня, молодые люди, а то ничего не видно...

Маленькая Вероника ждала Реджинальда с явным нетерпением. В руке у нее была корзинка. Под мышкой — чулочно-вязальная машинка.

Василий Заец с чувством потряс руку незнакомца.

— Я обязан вам жизнью. Вы мой доброжелатель.

— Это верно, что я доброжелатель, — прошамкал незнакомец, — кто родной дочке добра не желает? А я со своей стороны даю чулочно-вязальную машину. И комод. Почти новый. Живите. Чего там. Я ничего не имею... Теперь такой народ пошел... Не хотят жениться, и все тут... К-куда же ты?! Стой!

Василия Заеца настигли в саду. Бесстрашный капитан отбивался от старого цербера руками и ногами. Даже пытался укусить свирепого родителя за ногу.

— Теперь не уйдешь, — сказал родитель укоризненно, — женись, сукин кот.

Василий Заец зажил тихой жизнью плантатора. О грехах прошлого старался не вспоминать.

МИСТЕР ФИНГЛЬТОН И ЕГО ДОЧЬ

Из неоконченного романа

Перед фамилией Фингльтон я, не задумываясь, ставлю знак минус. Именно этому господину я обязан тем, что с утра до вечера нахожусь в состоянии раздражения. Он до такой степени нахален и толстокож, что никакие намеки на нежелательность его общества не могут его пронять. В этом человеке сосредоточились все американские недостатки и нет ни одного из американских достоинств. При этом недостатки, которые у иных моих соотечественников носят довольно милый и безобидный характер и составляют лишь еле заметную черту, у мистера Фингльтона доведены до крайности, очищены от примеси всего симпатичного и человеческого. Они заложены в его натуру, так сказать, в химически чистом виде. Американцы чрезвычайно общительны. Мистер Фингльтон надоедлив. Американцы знают себе цену. Мистер Фингльтон самонадеян. Американцы любят грубоватую шутку. Мистер Фингльтон обладает остроумием жеребца и в состоянии издавать одно лишь ржание. Американцы иногда чересчур оптимистичны. Мистер Фингльтон просто глуп. Американцы деловиты и уважают деньги немного больше, чем они того заслуживают. Для мистера Фингльтона деньги — это все, это предмет его страстной любви, это постоянная тема для разговора, это бог, которому он молится. Обычная американская способность быстро делать деньги доведена мистером Фингльтоном до виртуозности. Она превратила его в своеобразного маньяка, в какой-то автомат для выколачивания денег. В истории человечества не было войны или кризиса, которые не рождали бы нуворишей, эту отвратительную разновидность могильных червей. Я очень хорошо помню дельцов, разбогатевших на войне 1914-1918 годов. Это была весьма противная публика. Туповатые, ослепленные своим богатством люди, они с комической важностью покупали картины, везли из Европы целые замки, с важным видом слушали в Карнеги-холл Баха и Брамса и обвешивали своих вульгарных жен и хорошеньких любовниц драгоценностями с таким усердием, с каким дети украшают елку. Но по сравнению с нуворишами, которых выплеснула на поверхность последняя война, те люди представляются мне чрезвычайно ин-

теelligentными и в общем безобидными людьми. Весь ужас существования мистера Фингльтона и ему подобных заключается в том, что они, подобно прежним нуворишам, создают послевоенную моду. Они задают тон жизни. Их неприкрытый цинизм привел к тому, что современная состоятельная их молодежь ничем, собственно говоря, не отличается от животных. Все эти демонстрации голых, помпейские собрания, от которых даже прожженный парижский холостяк мирного времени пришел бы в ужас, все эти папуасские танцы, клубы кокаинистов и курильщиков опиума, официальный союз гомосексуалистов и лесбиянок, романы с описанием пятисот способов любви (их вы можете найти в любой добропорядочной гостинице) — все это настолько чудовищно, что не умещается в моем сознании.

Мистер Фингльтон едет не один. Он взял с собой дочь, восемнадцатилетнюю девицу по имени Одри. Когда началась война, этому существу было всего лишь шесть лет. Сейчас это образцовый экземпляр богатой послевоенной девушки. Не знаю, может быть, я действительно достиг того предела старости, когда человек просто перестает понимать настоящее, когда между молодостью и старостью образуется совершенно непроходимая пропасть, но Одри для меня так же непонятна и чужда мне, как жительница Марса.

Кто бы мог подумать, что, эволюционируя в течение нескольких миллионов лет, самая обыкновенная обезьяна превратится в конце концов в такое совершенное по красоте животное, как Одри, сохранив при этом в полной неприкосновенности свой обезьяний ум!

Разумеется, Одри очень довольна той жизнью, которую она ведет. Она довольна своим положением, своими друзьями, которые, провожая ее на пристани, пели модную похабную песенку «Нам начинать на все на свете». Она довольна даже тем, что сейчас происходит в Америке. У нее нет этого ощущения потери, которое томит людей моего возраста. Я силюсь быть объективным. Я собираю все доводы в пользу этой красавицы. Ведь в двадцатых годах, когда я был молодым жеребенком, мне тоже были непонятны вздохи стариков. Я жил тогда полной жизнью, веселился напропалую и совершенно не думал об инвалидах и безработных. Тогда тоже было вызванное войной падение нравов. Тогда тоже пьянствовали девушки из хороших семей, носили короткие юбки и больше всего боялись, что кто-нибудь может заподозрить их в целомудренности. Однако тем временам позавидуют сейчас даже квакеры из штата Пенсильвания.

Одри — великолепный образец современной моды. Когда нас познакомили, она сказала:

— Послушайте, для своих лет вы отлично выглядите. В последнее время мне надоели молодые. Пользуйтесь случаем.

А ее болван-папаша вместо того, чтобы простонать «Ах, Одри, как ты можешь» или что-нибудь в этом роде, похлопал ее по спине и, восторженно хохоча, заорал:

— Нет, честное слово, этой девке цены нет!

И тут же, считая, очевидно, что нет такого предмета в мире, стоимость которого нельзя было бы определить при помощи денег, добавил:

— Моя Одри стоит по крайней мере двести миллионов золотом! А если перевести это на сегодняшний курс, то бумажки не поместятся даже на этом пароходе.

За время шестидневного путешествия по океану (когда-то «Курин Мери» проходила это расстояние в четыре с половиной дня) я очень хорошо присмотрелся к Одри. Вот краткий результат:

Что Одри знает:

Она знает, что Земля круглая. Знает, что есть Атлантический и Тихий океаны, река Миссисипи и хлебная биржа в Чикаго. Из сорока девяти штатов Америки она могла бы назвать только шесть: Нью-Йорк, Калифорнию, Флориду, Нью-Джерси, Пенсильванию и почему-то Орегон. Она знает, что счастье человеку могут принести только деньги. Знает фамилии Вашингтон, Рузвельт, Боулти (знаменитый боксер), Гэмперс (автор порнографических романов), Лонгфелло и Шекспир. Последних двух она знает понаслышке, но не читала. Когда я спросил, почему — она ответила: «А пусть все они идут к чертям собачьим». Она знает все, что касается отношений между мужчиной и женщиной и очень любит об этом говорить. Считает, что рожать детей «могут только негритянки» и что это «не дело для белой женщины». Она отлично знает породы собак и назвала мне семнадцать особенно модных. Она знает буквально тысячи неприличных анекдотов и записывает их в книжку, чтобы не забыть. Она знает, что Россия — страна, где живут сумасшедшие, но ехать в Россию не боится, так как «эти сумасшедшие — тихие и безопасные». Одри твердо знает, что она высшее существо и таких, как она, есть во всей Америке не более тысячи, но тем не менее есть хорошенькие мальчики из низших слоев и что в этом нет ничего плохого. Она, видите ли, демократична. Она знает сто двадцать видов выпивки, но предпочитает чистый спирт.

Чего Одри не знает:

Она не знает, как растет хлеб, почему идет снег, что такое молния и каким образом вырабатывается стекло. Из всех планет она назвала мне только одну — Уран («у нее такие колечки», хоть «ко-

лечки» у Сатурна). Она не знает таких фамилий, как Толстой, Марк Твен, Хемингуэй, Микеланджело, Пастер, Бетховен, Диккенс, Гете, Данте, Юлий Цезарь, Чайковский, Коперник, Фультон и Франклин. Не знает, что такое система кровообращения. Не знает, что есть такая река — Нил. Не знает разницы между Арктикой и Антарктикой. Не знает, что слово «любовь» можно употреблять также и в возвышенном смысле. Ничего не знает о геологических эрах и о происхождении человека. Не может назвать ни одной огнедышащей горы. Никогда не видела живой курицы, утки и лошади. Можно было бы написать целую книгу из одних только перечислений того, чего Одри Фингльтон не знает.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Осторожно, овеяно веками! (<i>Путевые очерки</i>)	5
Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска	22
Город и его окрестности	22
Синий дьявол	25
Васисуалий Лоханкин	28
Страшный сон	31
Золотой фарш	34
Собачий поезд	39
Вторая молодость	42
Мореплаватель и плотник	46
Двенадцать стульев (<i>Забывшие страницы</i>)	49
Агафон Шахов и «милостивый государь»	49
Скульптор Вася, Никифор Ляпис и другие	55
Золотой теленок (<i>Забывшие страницы</i>)	64
Папа-Модерато	64
Фельетоны	69
Их бин с головы до ног	69
На зеленой садовой скамейке	73
Метрополитеновы предки	76
Евгений Петров	87
Грехи прошлого	87
Мистер Фингльтон и его дочь (<i>Из неоконченного романа</i>)	91

Литературно-художественное издание

ИЛЬЯ ИЛЬФ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

Осторожно, овеяно веками!

Редактор *Л. С. Писаревская*

Обложка художника *А. Е. Григорьева*

Корректор *М. А. Родионова*

ИБ № 66

Сдано в набор 12.12.91	Подп. в печать 03.11.92	Формат 60 × 90 ¹ /16
Бум. тип. № 2	Гарнитура Таймс	Офсетная печать
Объем 6 п. л.	Тираж 45500 экз.	Зак. тип. № 203
		Зак. изд. № 72
		С—65

Типография ИПО «Полигран»
125438, Москва, Пакгаузное шоссе, 1

Издание подготовлено к печати на ЭВМ в ИПО «Полигран»